

Елена КРЮКОВА

г. Нижний Новгород



Памяти великих русских хирургов —
святителя Луки

(Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого)

и Николая Михайловича Амосова

ФРЕСКА ПЕРВАЯ. СЕВЕРНАЯ СТЕНА

Раскрой же двери. И войди, войди сюда босиком. Ты легчайшая легких, ты добрейшая добрых. Кто тебя разберёт, девчонка ты или музыка. Я тут лежу, лежу себе, лежу; а тыходишь и глядишь на меня, ты принадлежишь к существам, что не могут говорить, а только молчат; молчание твоё хрустально, беспечально, изначально. Я бы возомнил, что ты мне снишься, да видишь, я здоровою рукой крещусь, и благодарен я Господу, благодарен воздуху, коим дышу, что плечо мне раздробили левое, а не правое, и я могу шевелить рукой и накладывать крестное знамение. Наступили такие времена, что ты, инфанта, видишь вокруг себя не тех, кто верит в Бога, а лишь тех, кто верит в кровь и злобу. Ты благородна, а я тебе тоже благодарен. Вот лежу я тут, лежу. Губы уже не дрожат, они только тихо, слабо улыбаются, и я могу беседовать с тобою лишь сердцем, а это всего лишь кровавый комок, весь оплётённый прутьями и лозами плодоносных сосудов, как часто я видел его в красной слизи, а он бился у меня под руками в резиновых перчатках, взбрыкивал, хотел вырваться из клетки костей, убежать, утечь в небеса, — а я хищно хватал его, сжимал в кулаке, ритмично сжимал, как мяч для гимнастики ладони с перерезанными сухожилиями, — ах ты, инфанта в затрапезке, не пугайся моих мыслей, я тебе ещё не то расскажу, приучайся меня не бояться, — и тот кусок плоти, что, по нашим детским верованиям, полон добра и любви, яростно бился у меня в ладони, а потом вдруг застыл алой глыбой, мёртвой ошипанной курой, и я, молясь о продолжении жизни, наклонялся над ним, скользким, облитым кровью, и даже дышал на него. Так дышат на морозное стекло.

Я сам, дитя, стал морозным стеклом. Подыши на меня! Отогрей меня!

Вот, вот, видишь, ты подходишь ближе. Ещё ближе, не страшись. Твои зрачки, две букашки,

Публикуется в авторской редакции

ползают по мне, изучая, дивясь, а я-то гляжу на тебя не глазами: у меня их нет. Один затянут бельмом-паутиной, другой мне выбили, когда мучили меня. Про это я тебе не буду. Не настало время. Я слышу, как твои босые ноги шаркают по давно не мытым половицам лазарета. Вот лежу я здесь на железной койке, один, как царь, и железная сетка не прогибается подо мной, такой я лёгкий. Ты тоже лёгкая! Ты легко дышишь! Я слышу твоё дыхание, оно слетает ко мне бабочкой!

Иногда я слышу, как ты бродишь по унылой палате и возишь по полу щёткой. Я вижу сердцем твою щётку: длинная ручка, седая щетина, вся повылезла. Две твоих тощих косички связаны на затылке корзиночкой и упрятаны под ярко-красный платок. Да, платок у тебя на лбу цвета крови, он повязан плотно, палец под суровую ткань не протолкнёшь. Сколько тебе лет? Десять? Тринадцать? Пятнадцать? Ты слишком худенькая, поэтому твой возраст можно перепутать. Думаю, двенадцать тебе. Двенадцать апостолов ходили по горячим пыльным дорогам за Христом, а ты тут ходишь за больными. И не за деньги наняли тебя; тебя приневолили, тебе приказали. Ты послушалась, а что было делать? Скажи спасибо, тебя кормят. Швыряют в миску старинным оловянным половником жидкую кашу.

А ты неслышно подходишь ко мне, садишься на край моей койки, моего железного последнего корабля, и кормишь меня. С ложечки. Оловянная миска дрожит на твоих коленях, она живая. И чувую я себя ребёнком, и стыдно мне, и сладко, и больно, и яростно, и ничего тут не поделать; я ловлю губами скользящую с ложки в небытие собачью кашу и думаю: нет, это еда не для прелестных инфант, это еда для уходящих с лика земли в ночные небеса.

Там плавают рыбы-звёзды. Дрожат поплавки планет. Милая, я в юности любил рыбачить. А когда рыбы наловлю, костерок разожгу, котелок на огонь водружу, разрезаю изловленных серебряных и золотых рыб вдоль брюха, прямо посередине подрагивающих красных плавников. Красный Мирь! Кровь везде. Я вычищал ножом у рыбы из брюха кишки, а она ещё дёргалась, и я опускал её в булькающий кипяток, в адский котёл, и не ведал я тогда, что буду не рыба — людям животы разрезать. Рёбра ломать. Мышцы кромсать. А потом крепко сшивать. Нить,

которою сшивают людские раны, должна быть крепкой и мягкой.

Это как любовь: она вместе и сильная, и нежная.

Милое дитя, ты знаешь, я нахожусь внутри твоей картины. Ты же не живая, нет. Ты — нарисована. Я слышу тебя душой, вижу сердцем, обнимаю духом, а где твоё тело? А где моё тело? Мы сами себе снимся. Я то и дело погружаюсь в сон, а что ещё прикажешь делать в лазарете? Спать! Спать! Неужели тебе не снится твоя свита, твой веер из павлиньих перьев, твоя собака, твоя рыжая кошка, твои слуги, твои высокородные родители? Их отражения — вон там, подними глаза, в квадратном тусклом зеркале, высоко висящем на затянутой мрачной парчой стене. А может, это не парча, а солёные рыбы морские, на северном ветру насквозь провяленные, и не зеркало мотается, накренившись, под косым деревянным потолком, а грязное окно: и в нём не королевские сытые лица, а дальние, в мутной мгле, виселицы и плахи.

Я лежу меж тобой, твоим живым шевеленьем, и между ледяным зеркалом, отражающим мою смерть. Нашу общую смерть, одному умирать так тоскливо, невыносимо. Нет, не бойся, придвинься ближе. Кашу я уже всю съел. Мне трудно глотать. Мне тяжело говорить. Я посылаю тебе мысли, и ты гуляешь среди них, как в чашобе морозных узоров на зеркальном оконном стекле. Продыши во мне, застылом, смешной прозрачный кружочек нежным ртом! И приблизь к нему око свое. И гляди. Наблюдай. Ты много чего увидишь. Ты никогда не носила украшений, дырявое платье твоё пахнет солёной трескою, картофельными очистками, золой и свечным нагаром, но мы с тобой здесь русские люди, наш лазарет на берегу моря, я никогда не мечтал так умирать, но я сейчас яснее, чем когда-либо во зрячей жизни, вижу: тело — хворост, душа — играющая рыба, дух — усыпанное полнощными звёздами небо. Я твоё небо. Я дух. Ты кормишь меня кашей, это твоя обязанность, твоё больничное послушание, но это лишнее. Я лежу, ты сидишь, а на нас из зеркала смотрит страшный Мирь, который мы покинули. Мы никуда уже не уйдём с этого берега моря. Да нет, ты никакая не инфанта, ты царица, зачем нам заморская живопись, мы же русские люди. Почему ты молчишь? Ты так внимательно, благо-

говейно слушаешь меня? Я лежу между твоей свитой, царевнушка, между швабр, щёток и венников, мисок и ложек, оловянных и деревянных, между запахом иных, многозвёздных красок, между режущими скальпелями врачебных голосов — и между Тем, кто стоит там, в углу, о, не оборачивайся, сначала я посмотрю ему в угрюмые глаза ясновидящим сердцем, — там, за нашими спинами, за перевалами ненависти и любви.

Я дерзну рассказать тебе сегодня мою любопытную историю. Ты любишь слушать истории? Так вот слушай! Возьми невесомыми пальцами мою здоровую руку. Пожми её. Я с трудом смогу ответить тебе пожатием. Но я сделаю это. Давай склеим пальцы, сольём. Я не раз переливал при операциях кровь — не только из стерильной банки, но от человека к человеку. Господи! Любость Твою и прощение Твоё на нас излей! Я много грешил, хоть пытался людей от смерти спасать. А ты, девочка, ты же подснежник в весенней тундре! Ты из Ангелов. Я узнал тебя.

Позволь мне начать мой рассказ. У тебя была бабушка? Нет? Она нашептывала тебе на ухо сказки, укладывая спать? Нет? Ты сирота, я понял. Давай я буду твоими отцом и матерью, твоими дедом и бабкой, твоими братьями и сёстрами, твоими далёкими детьми и внуками. Мы свидетели на перекрестье времен, и время обожгло наши щёки и ключицы огненным ветром. Давай простим наше время и тихонько, на время, забудем его. Времени на самом деле нет. Зря все верят, что оно есть. Всё повторяется. Всё хохочет во все горло. Заливается слезами. Какая тёплая у тебя ручонка. Начнём же. Слушай. Господь с тобой.

* * *

Я раньше был портретом. Я был доступен воображению и кисти художника. Не морщь лицо своё; оно у тебя, дитя, слишком красивое и нежное, чтобы гримасами уродовать его.

Сквозь большие, просторные окна, величиной с колосющиеся пшеничные поля, всю мою жизнь лился свет; он лился то молоком, то мёдом, то густым красным вином, то прозрачной, призрачной пахтой, всё зависело от того, какое время суток на дворе, день, рассвет, закат или беспросветная ночь. Говоришь, живой человек не может быть живописью? Да живопись, дитя, это всё су-

щее. Всё вокруг нас. Мир не трёхмерен. Он многослоен — так, как многослойна человеческая кожа, человеческие потроха, весь пирог человеческой истории и мысли, из которой складываются огненные коржи веков. Им не вернуться никогда: они съедены до крошки. Встань сюда, к окну, в круг света. Встань так, чтобы находиться между мной-портретом, мной-человеком, кистью художника и другими его натурщиками, что толкуются там, поодаль. Его натурщики — мои владыки. Его натурщики — мои врачи. Его натурщики — мои палачи. Я их вижу сразу из трёх пространств: отсюда, с койки лазарета, оттуда, из насквозь просвеченной сливочным солнцем мастерской, и ниоткуда, с моего портрета. Три моих взгляда тихо соединяются. Сочетаются. Глазами можно сочетаться крепче любых уз: брачных, дружеских, родственных. Обними меня глазами, милая! Благослови меня зрачками своими. Я уже почти слепой, а ты только прозрела, слепой котёнок, ибо созерцаешь начало жизни твоей.

Ты спрашиваешь меня: а я, а где же я на картине? Ох, вот это трудный вопрос. Я шарю глазами повсюду — и тебя не вижу. Заблудившийся ясный луч, до брызг стекла пробивающий окно, так похож на тебя. Но это не ты. Я не должен ничего перепутать.

А художник? Где художник? Ах, да вот он. Он стоит и пишет. Возит кистью по холсту. Прищуривается. На кого он глядит? Натурщики угрюмо, страшно молчат. Не улыбаются, не беседуют, не шевелятся. Они отражаются. В зеркале.

Художник рисует их, острым взором вынимая из зеркала.

Вон оно, зеркало, на стене — огромное, как жизнь, я перепутал его с окном. Я старик, мне простительно, с кем не бывает. Мастер не видит их, живых; он видит их отражения, и они нравятся ему, если он их рисует. Что значит зарисовать? Это значит запомнить. Навек? Не обязательно. Нарисованное может сгореть в огне пожара, в кострах войны, истлеть и развеяться по чужому сиротскому ветру. Пока мы живы, мы или позируем, или рисуем. Третьего не дано.

Я глядел с портрета в лицо художника, но, деточка, виноват, я не помню его лица. Да полно, писал ли он меня и нас всех? Может, он просто смеялся над нами, и, смеясь, возил сухой кистью по белому холсту? Нет, в руке его была палитра, и

могу поклясться, что я чувствовал острый и нежный запах масляных красок. Натурщики застыли, я смотрел перед собою, вперед, и, как и мастер, видел их в необъятном зеркале.

Дитя моё! Вот если бы я был учен живописи, я бы тебя нарисовал. Такую, как ты есть — тощие белые коски скользнули с затылка и потекли по плечам, худые кочерги маленьких рук, босые ножонки из-под холщовой замызганной, там и сям залатанной юбки. Почему не дал тебе главный врач лазарета снежно-белый, чистейший халат, чтобы ты полноправной работницей вышагивала по коридорам и палатам? Встань так, чтобы отразиться в зеркале. Так мне удобнее всю тебя охватить больным взглядом. Я вижу тебя и сквозь ледяное бельмо поземки, выюги.

Пусть в чудесном зеркале отразится то, что художник не писал никогда, а я, грешный, не видал никогда. Зато все узришь ты; юные очи зрячи, а дети, да будет тебе известно, видят то, что не видят взрослые: они видят потусторонний Мирь. Зеркало пусть станет нашей Библией, нашей Псалтырю. Я знаю наизусть много псалмов царя Давида, ибо я их и читал, и пел во храме, и плакал над ними в тиши моей нишей кельи. А вокруг меня, по срубовым стенам, висели, лунно блестя и паутинно мерцаая, всё зеркала, зеркала — мою жизнь всегда отражали, мне давали ею полюбоваться, тщетной и тщедушной, и давали понять, что в ней надо менять, а что не надо, и рано ли умирать, и, наряду со мной, ничтожным, мне показывали царей земли, её лекарей, её портных, её солдат, её судей. Народ вздымался и клокотал в чудовищном зеркале, и накатывал прибоем, и отступал, тихо ворча или дико крича, а после воцарялось торжественное молчание.

И, ты знаешь, молчание нарушал лишь твой голос! Далекий, жалкий голосок! Я слышал, как ты кричишь мне из зеркала: батюшка!.. батюшка!.. очнись!.. ты не мёртвый, ты же живой!.. живой!.. Я очнулся и стал искать глазами зеркало, чтобы увидеть там мой народ, и не видели свет мои глаза, и понял я, что ослеп, и заплакал, а руки твои, ловкие, быстрые и худенькие, невесомей крыльев стрекозы, отирали мне слёзы со щек, заросших щетиной. И ты была звёздная стрекоза, а я был старый леший, и века проходили, пока дрожали надо мной твои сетчатые прозрачные крылья.

Я всю мою жизнь, дитяtko, пытался вразумить

людей. Быть может, это значит — поучать. Кто из нас имеет право учить? Внушать? Вести за собой? Учил, милая, только Господь. Нам ли, каждому, этого не знать! Даже грешники знают. Тем паче знают, чем дальше отстоят от вдыхания жарких либо ледяных ветров, коими дышат праведники. Вот я великий грешник. И каялся я каждодневно. И пытался не совершать грехов, в которых покался; однако диавол рядом, он за плечом твоим, и чуть зазевался ты, одолеет он тебя.

Вот служба во храме. Для инога иерея она — театр, виньетки позолоченные, музыка как украшение басом поющих вечных словес. А для инога — исповедь. Стоит священник у аналоя и кается, кается. Думаешь, паства того не понимает? Да ходила ли ты во храм? Да стояла ли в чередѣ исповедников и причастников? Тихо, тихо... не говори ничего. Зеркало нам всё с тобою скажет.

Зеркало всё отразит. И заскользим мы в нём, из нашего Мира в Тот Мирь, хотя и пути не знаем, и вехи не видим. Нас ведут. И мы идѣм.

И все мы друг у друга учимся.

И учитель благодарен ученику, ибо зрит через ученика небеса неведомые; и ученик благодарен учителю, ибо даёт ему учитель на тропе Времени обогнать себя.

Что спросила? Помню ли я имена всех, кто в зеркале отражѣн? Всех встреченных на пути? Много людей прошло сквозь сердце моё. Сокровищами моими стали они. Имена их помню не памятью — кровью. Ибо они — мой народ; и я — народ их родной. А власть над собою любую смиренно приму. Ведь, знай, кто-то на земле сильнее, кто-то слабее; и слабый вдруг окажется сильным, и сильный внезапно потеряет бразды правления и силу приказа. И счастлива так власть, что с Богом единое целое составляет. Как той звезды достигнуть? На каком прочном корабле?

Владыки рожают детей, нанимают им воспитателей, выкармливают их лучшими яствами, развлекают их дикими и домашними зверями, бархатными и шёлковыми нарядами, жонглѣрами и лилипутами, и печальная карлица читает княжичу по слогам древнюю, как кости Левиафана, книгу, и нежный карлик в огромной шляпе поѣт принцессе Ангельские песни, и при этом слёзы стекают по его грешным щекам, а на стене муроточит святая икона, рассылая вокруг незем-

ной аромат. Кошки бродят по изукрашенному росписями терему, собаки громко лакают ключевую воду из серебряных мисок, и, дитя, помни, богатый дворец — ещё не весь Мирь, и никакое богатство в целом свете не стоит одного тихого поцелуя того, кого больше жизни любишь.

Стой так! Зеркало отражает тебя. Вот теперь я вижу тебя из трёх пространств, да нет, из трёх моих Времен, о которых сегодня расскажу тебе, не утаю ничего, и ты будешь вспоминать мой рассказ всегда. Открою тайну: вспоминая меня, ты всякий раз будешь проживать со мною мою жизнь. Жизнь — не просто зеркало, висящее на стене в заляпанной красным кадмием мастерской художника. Жизнь — это одно зеркало, и другое, и третье, и сотое, это великое множество зеркал, отражающих друг друга, отражающихся друг в друге, уводящих нас от самих себя — в гудящий наш народ — насмешливо и бесповоротно, сверкающих остро наточенными ножами, нежно льющих с посмертных небес звёздное золотое руно. Кто выдумал зеркало? В незапамятные, допотопные времена красавица гляделась в гладко обточенный чёрный лабрадор, и это была ты. Маленькая девочка с двумя белыми, выюжными косками по плечам, хлебные веснушки по щекам, острые локти торчат в стороны, босые ноги в цыпках. Ты такая красивая! Не наглажусь на тебя.

Проходят долгие века, шествуют мимо тяжкие тысячелетия, становятся легче пуха, призрачней предрассветного сна, накатывают из забытья людские валы, быют о берег всеобщей тоски, быют о берег моей единственной радости, разрушают её, напоследок целуют горячими брызгами, это люди текут перед Вселенной моих зеркал и уплывают в никуда, это люди струятся перед моим портретом и даже не останавливаются перед ним, и не косят в меня жадными очами, и не разглядывают в линзы, чтобы приблизить не к пылающему сердцу, а к сугробному, холодному разуму своему, — и уходят, уходят, а я, несчастный, смотрю им вслед, я не знаю, как их остановить, ведь они есть Время, а Время остановит только Господь на Страшном Суде.

А люди всё идут, идут торжественно и бесконечно, и Время всё длится, и Страшный Суд, где он, кто кричит — завтра, кто — слишком далеко, отсюда не видно, и кто цепляет на грудь ордена и гордится ими, кто сдавленно плачет в

углу бедной хибары, кто венчается в деревенском храме, кто держит над женихом и невестой золотые венцы... кто?... да ты же и держишь, малютка, нежное дитя моё.

Что спросила? Почему никто зеркало не разобьёт? Не расколотит суковатой палкой все зеркала? Почему все молятся и терпят, плачут и любят, молчат и ненавидят, идут и идут? Всё мимо и мимо? Время всегда — мимо. Такова его природа. Я, священник, я века напролет занимался Временем; помолясь, я просил Бога сурово не наказывать меня за то, что я пытаюсь разгадать Его святую загадку, а напротив, помочь мне в изысканиях моих. И часто я чуял себя живым мостом, перекинутым через времена. Однажды, после Литургии Василия Великого, огромной, как Мирь, и великого священного труда Причастия я сидел дома, у смертного одра жены моей, тетрадь моя, куда заносил я смутные и грешные раздумья мои, была широко распахнута, как белое поле; и перо само начало чертить на белом листе фигуры: клубком, как спящая собака, свернувшийся скелет ребёнка, тьму земли кругом, над погребённым — шествие жизни: вот идут быки, вот бегут кони, вот бредут, витые рога выставив вперед, мощные бараны, вот плывут сонные рыбы, вот летят птицы, и среди них — царица Жар-Птица, и нет жизни конца, и нет начала. А детский скелет спит в земле. И сколько других, тысячи тысяч, тьмы тем, мириады мириад, спят в брюхе земли и ждут Страшного Суда. Или — не ждут?

А кто ждёт? Души живые?

Да, дитя, я мост через миры и века. По мне идут звери, катятся повозки, адские военные машины грохочут и взрывают стальными гусеницами землю: чернозём и подзол, наледь и грязь. Иди по мне! Я сам лягу тебе под ноги. Старость уходит, юность идет по ней, топчет её, веселясь. Тебе не разбить моё зеркало! Пусть это сделает другой, не ты. Тебе же нравится отражаться в нём. И какая тебе разница, нарисованное зеркало или настоящее: отражение плывёт и живёт, оно живёт отдельно от тебя, от наших желаний и предпочтений, оно замыкается на собственную загадку, пылает своим огнём. Любезное дитя мое, взгляди внимательней в меня! Неужели ты не различишь в моём старом, изморщенном лице твоё лицо? Ах, ты никогда не видела твоего отражения в зеркале? Ты не знаешь, что такое зеркало? Тогда

тебе трудно будет объяснить мою чистую радость. Я давно не человек. Я зеркало. Я отражаю Мирь. Будь добра, загляни в меня. Пусть ты там не увидишь себя. Зато Мирь ты увидишь.

Войди внутрь меня, не бойся, войди внутрь Мира. Это только с виду страшно. Это только кажется, что трудно. Мы, изъятые из Мира, всегда можем войти в Мирь; вернуться. Да, мы возвращаемся в него, рождённые им в муках, отторгнутые им. Перерублена пуповина, коей привязаны мы к Матери-Земле. А мы, вырастая, возвращаемся! И мы, умирая, отражаем весь Мирь: всех людей, все войны, все рыдания и праздники, все Время! Время истекает кровью. Мы не можем в нём присутствовать: нам отмерен срок. Но мы можем отразиться друг в друге, и зеркала щедро подарят нам бесконечность.

Деточка, я совсем не умён. Я неразумен, я глупец, я не понимаю того, что для других людей лежит на ладони и внятно им, как «Отче наш». Но я хочу поведать тебе повесть, ты мнишь, о себе самом, а я говорю — я тут всего лишь отражение многих и многих людей, что медленно шли, текли мимо меня и тихо становились мною. Как хочешь, так и понимай! Если печально станет тебе и захочешь ты плакать — уйди, я не неволю тебя. Я не буду хвалить себя и очернять себя, не буду короновать себя или казнить себя; ты сама всё поймёшь, ведь амальгама зеркала такая серебряная, праздничная, такая чудесная, она мерцает Луной и сверкает Солнцем в небесах, она освещает мое сердце изнутри, и ты увидишь, как оно бьётся Полярной звездой в зените, не в клети измученных рёбер.

Я расскажу тебе о малом. Я расскажу тебе о многом, а может быть, даже обо всём. Я жил так долго, так безмерно долго, что мне внятно стало всё на свете страдание людское. Я собирал слёзы людей в горсть и в пригоршню, омывался ими, как Крещенской водой из чёрной, на синем снегу, проруби, и чужие слёзы текли по моему лицу и смертному телу, и я плакал вместе с другими душами живыми, коих не знал и не узнаю никогда. Ерунда — знать! Счастье — чувствовать! Жизнь это чувство, и восчувствуй, и возрадуйся, и восплачь, и ужаснись, и мучься без меры, и умри, и воскресни. Бог нам примером. Звёзды примером нам: они угасают, а после вспыхивают опять. Не бойся смерти. Умирая, ты рождаешься в жизнь. Только

там иное чувствование, иная речь, иные флаги счастья, иные хоругви боли. Пока мы тут, на земле, нам больно именно так; перейдём в Мирь Иной, и нам больно станет по-другому.

Детонька, что смеёшься? На лбу у тебя сегодня красный платок, а частенько ты приходишь в палату в белом. Я по дыханью твоему твой платок различаю. Много внятно, если ловить чужое дыханье, прислушиваться к нему, к его хрипам, к его легчайшему дуновению. Скажи мне, ты пишешь стихи? Напиши стихи о нас с тобой. Как ты ко мне приходишь в палату и сидишь около моей железной, последней койки. Я не боюсь говорить с тобой о смерти, она равна для юных и старых. Она для всех, она хлеб. Спой о ней песню! Бормотать о ней не боюсь, а её самой боюсь. Самого момента перехода. Как на ступень спущусь? А может, поднимусь? Как порог переступлю?

Знаешь, я от мук, причинённых мне, человеку, людьми, братьями моими, весь выгорел внутри, вместо печени пепел, вместо потрохов порванные струны, вместо сердца — кровавый комок. Сдери с головы красный платок и зажми в кулаке: вот тебе сердце моё. А ведь сказано в Писании: где сокровище твоё, там и сердце твоё. Где теперь сердце моё? Ужели в небесах? Нет, ещё нет. Здесь, на земле? Но и земли мне уже не видать. Так где я? На железной койке в тюремном лазарете? Железная койка моя земля. И ты, дитя, ты моя исповедница, я твой причастник, а ведь сколько лет я исповедовал и причащал людей.

Не сетуй. Заминки в исповеди моей не выйдут. Ведь я в последний раз исповедуюсь на земле, и не одной тебе, ты же понимаешь, а всему существу: моим тюремщикам, что больно били меня, стенам лазарета, что пахнут сырым, просолённым морем деревом, а иногда подгорелой кашей, а иногда вяленой рыбой; близкому морю, слышу, как оно мерно гудит, поёт за стеной. Я исповедуюсь всем близким и далеким, всем яростным и милостивым. Быть добрым! Всё прощать! Что это? Зачем это? Господь нам это заповедал или мы сами, грешные, догадались? Время режет нас на куски, как свежее выловленную рыбу, а мы думаем, это мы его разрубили, расчленили, и варим его плоть в громадном котле, и котёл тот давно не чистили, он весь во ржавчине, в жире, в окалине. То всего лишь сон наш! А явь такая: Время прихо-

дит, взмахнёт ножом — и отрубит нас от самого дорогого. И корчись на берегу, на мокром солёном песке, под ледяным ветром с Северного полюса, в бессилии и тоске.

Ты вот не сочиняла ни стихов, ни песен, а я, слепец, тебе нежные стихи сочинил. На память. Лежу тут один днями, ночами напролёт, не сплю, пою. Никто не слышит. Я тихо пою. Мне всё равно, пусть больные думают, я сумасшедший; благословенны юродивые Христа ради, и благословен Мирь, что их сечёт плетью, гонит и терзает: без боли ты, живой, живая, никогда не узнаешь правды.

Вот слушай. Я тихонько.

Я подобен пастуху Давиду... и Роману Сладкопевцу, и... Не держите на меня обиды. И не тратьте на меня любви. Не обрушивайте гнев и ярость. Не сверкайте факелами глаз. Я не знаю, сколько мне осталось, и тем паче каждому из вас. Я подобен всем царям и нищим... я подобен рекам всем, ветрам... и воде, и занебесной пище... Люди, люди!.. я подобен вам... Каждому, хохочущему громко. Каждому, кто слёзы льёт во тьме. Я подобен старцу и ребёнку, и заплате на святой суме. Брёл... упал... рубцы и шрамы... раны... Бичеванья крик и благодать... Деточка, умру сегодня рано... но успею чудо рассказать... Сядь поближе на железной койке... домовина — панцирная сеть... Ты не плачь. Платок в руках не комкай. Ты поверь мне: сладко умереть. Я часовня. Дверь моя открыта. Купол мой серебрян и незряч. Я подобен пастуху Давиду... ну а ты, Вирсавья, ты не плачь...

Понравилась песня? А это всё правда. Исповедь это чудо. Многие думают: ну, пришёл во храм, набормотал священнику да себе под нос всякую поганую всячину из своей жизни, нечто утаил, стыдно, либо намеренно очернил себя, забыв, что самоуничтожение паче гордости; а кто искренне признаётся во всем, тот слезами заливается, повествуя, тяжело сдирать исподнее бельё и обнажаться; и немногие, слышишь, немногие чувствуют: исповедь суть чудо, исповедуясь, ты становишься всем сущим, Белым Светом обширным, Царём Космосом в смоляной, антрацитовый, расшитой турмалинами и лалами парче, и звёзды в тебе шевелятся, играют и мерно, медно, медленно идут по угольному, дегтярному полю, будто коровы с алмазами во лбу, и перебрывают великие небеса вдоль и поперёк, уходят вдаль, навсег-

да, — ты, признаваясь в содеянном, никогда больше не вернёшься туда, где ты это сотворил. И чудо в том, что тебе иерей грех отпускает, а ты всё равно помнишь его, помнишь и ненавидишь, помнишь и любишь.

Не уходи. Тебя я умоляю, есть такая песня. Её пел один мученик, такой, как я. Дитя, а ты ведь рядом с мучеником сидишь! Я то без гордыни произношу. Перед смертью ложь не говорят. Истину вышпёптывают! Не уходи... слушай...

АЛЕКСЕЙ

Село, где родился, не скажу тебе названия его, забыл, очень любимо было мною. Я любил его, едва осмыслил видимый Мирь, глядя на его красоту и безобразие широко распахнутыми глазами; глаза, доченька, это двери, и через них всё входит в тебя — и ужас, и благословенье, и тяжело им, обнявшимся, выйти наружу. А может, я любил мою Родину ещё до рождения; Родина ведь в нас течёт, она наша кровь, наше упование. Не изменим ей. Не поглумимся над ней. Отец мой был беден; так беден, что иной раз, созерцая наш быт и домашнюю утварь, я забивался в угол, закрывал ладошками лицо и сотрясался в бессмысленном плаче. Нищету не поправить. Не залечить. Она как родимое пятно. Я тогда не знал, что возможно враз разбогатеть, а потом внезапно потерять всё драгоценное; мой отец был никто, да, видно, так и надо назвать его: никто, и звать никак, прости, шутить я не умею. Отец был всем и ничем. Он много чего умел, руки у него были золотые. Он пилил и рубил, колол, строгал. В нашем бедном доме он всё сам смастерил: из найденных на задворках досок сколотил двери, сделал стол и табуреты, сложил жалкую крохотную печку в бане, похожей на сарай, чтобы семейству можно было печь растопить, воду согреть и помыться. Нас, детей, было трое, а матери у нас отродясь не было. Мы росли при отце, и думали, что так и надо. Хотя видели во чужих дворах баб, тощих и толстых, а также древних старух, и понимали: вот женщины, и они занимают место под Солнцем, и делают дела, и возятся с детьми, значит, так тоже на земле бывает.

Однажды через наше село проезжал один богатый человек. То, что он богат, я понял сразу, выбежав на дорогу; железная повозка громко тарах-

тела, когда путешественник проезжал мимо нашей хижины. Мы, дети, побежали, как собаки, рядом с повозкой: два моих брата и я. Закричали, запрыгали. Я, младший брат, завопил громче всех: гляньте! гляньте! царь едет! Конечно, никакой это был не царь. Но железная повозка блестела на Солнце ярче павлиньих перьев, играли изумрудами стекла, в дверцы вставленные; высывался из окошка наружу человек, и видно было нам, ребятишкам — пиджак бархатный, в галстук алмазная заколка, на обшлагах рубахи жемчужные запонки, и все это великолепие сверкало нестерпимо и резало нам глаза.

Богатей услышал наши неистовые вопли и увидел нас. Остановил авто и вышел вон. Пошарил в кармане, наклонился к нам, детям, и рассовал нам по рукам то, что в кармане пиджака нашёл. Деньги бумажные и медные, красивые камешки, странные украшения: броши без заколок, одинокие серьги, бусы без застёжек. Мы на дядьку воззрились да заорали ещё пуще! Он впрыгнул в железную повозку и укатил. И только пыль вилась на дороге белчьим хвостом.

В тот вечер мы ели за ужином жареное мясо, яичницу, солёные огурцы, свежайший ситный, пили парное молоко, настоящий крепкий чай, а не собранные отцом в полях и лугах травы, и к чаю были поданы земляничное варенье и сахарная голова, и отец, смеясь, разбивал эту смешную голову своим плотницким молотком на мелкие острые кусочки.

Тогда я понял: хорошо быть богатым. И тогда же догадался: а мне богатым никогда не стать. Яблоко от яблони недалеко падает, ты ведь знаешь. К нищете мы, вся семья, привыкли.

Время нанизывало на нить слёз каменные года, отец старился и вот однажды умер. Мы с братьями похоронили его, как могли. Я, как мог, прочитал заупокойную молитву на его свежей могиле, я молился своими словами, нигде я не слышал их, не читал. Старший брат научил меня грамоте. Алёша, говорил он, в школу не ходишь, так давай я тебя поучу! Брат ходил в школу, но бросил её: у них со средним братом были одни валенки на двоих. Летом мы бегали босиком. Как все в селе.

На самодельной этажерке, около печки, стояли наши книги. Я все их прочитал. Рано мальчонке было читать французскую книжку про толстых великанов: множество неприличностей я там

отыскал и втихаря потешался. Раненько было нырять в любовные рассказы; на титульном листе красовался портрет создателя книги — утончённое лицо, нежные усики, печальный надменный взор. Знатный господин, думал я, и наверняка богатый, нам с братьями не чета. Я все его рассказы прочёл; рано я узнал, что женщину надо обнимать и целовать и ложиться с ней в кровать, тогда тебе станет хорошо, а после ты будешь плакать, да и она заплачет, но это ничего не стоит в сравнении с испытанной радостью.

У нас в селе стояла церковь. Маленькая, как уточка, она плыла по окрестным буграм над широткой и мощной рекой. Уплывала в разнотравье. Однажды я туда примчался, босой прибежал, ноги купались в пыли, головёнку напекало Солнце. Я вбежал в могучие двери и замер: на меня рухнула штормовой волной музыка. Музыка меня сотрясла и обняла, я испугался и убежал. Пока бежал домой, плакал, но того не понимал; прибежал, а всё лицо мокро, я утирал его грязными ладонями и хохотал и плакал одновременно. Над собой смеялся, а ту чудесную музыку боялся вспомнить, но никогда больше не забыл.

Иной раз мне, ребёнку, казалось, что я уже взрослый. Я воображал себя таким же, как тот знатный странник в железной повозке: то владельцем усадьбы, то повелителем народа, то музыкантом, вот стою, на скрипке играю, а ещё лучше пою, и люди в зале громко хлопают мне в ладоши, а вот я священник во храме, и на животе у меня, поверх рясы, лежит великанский золотой крест. Чаще всего я представлял себя врачом. Деревянный стетоскоп в руке, белый халат чище первого снега. Склоняюсь над кроватью больного, и он больше никогда не умирает. А выздоровев, песни поёт.

Два моих брата выросли, старший поступил в услужение в городе, другой остался в селе и работал по найму: то баньку кому срубит, то доски с лесопилки привезет, то крышу черепицей покроет. Мы с ним ютились в отцовской бедной избёнке. Старший прибыл летом, вкусить ягод и закупаться в родной реке, и изрёк: а тебе бы, Алёшенька, надо бы тоже в город перебраться, давай я тебя санитаром в лазарет устрою. А что такое лазарет, спросил я, как дурак. Лазарет, наставительно поднял палец старший брат, это такой большой дом, где лежат больные люди, много несчастных

больных людей, а доктора их лечат, у докторов свои заботы, как получше больного вылечить, а ты бы там докторам помогал, сновал туда-сюда, тазы с водой им подносил, чистые полотенца, грязь из-под коек метлой выметал, мыл полы, окна в палатах настежь распахивал, чтобы болящим было чисто и вольно дышать. Ну как, поедешь работать в лазарет?

Я кивнул. А что мне оставалось делать?

И ещё мне стало жаль больных. Вот бедные, ду- мал я, валяются на койках, встать не могут, стонут, плачут, страдно им, томно! Ну как им не помочь! Конечно, надо помочь! Помогу!

И тогда, в те поры, мы отправились в город вместе с братом.

Средний брат стоял на крыльце и махал нам рукой. Мы то и дело оборачивались и ответно махали ему. Шли мы к железной дороге, через поле и лес, а потом опять через поле. Жужжали шмели. Старший аккуратно нёс в руке маленький картонный чемоданчик. У меня за плечами моталась самосшитая котомка. Босые мои ноги мелькали у меня перед глазами, когда я опускал взгляд. Мы добрались до станции, отдуваясь, обливаясь потом, жара крепко обнимала нас, дождались железных вагонов, бегущих по рельсам в будущее, сели и поехали, и потряслись, и полетели. У брата, это было удивительно мне, уже водились деньги в карманах, как у того памятного богача; он купил нам настоящие билеты и настоящие пирожки с капустой в станционном буфете.

И стал я прислуживать в лазарете. Далеко от города, где жили мы с братом, шла война, и в лазарет наш то и дело привозили раненых. Я ещё не знал тогда, что война идёт всегда, и раненых будут привозить всегда, во все времена. Я наивно думал: ну ничего, времечко пройдет, этот ужас скоро закончится, и наш лазарет превратится в обычный госпиталь, где будут лечиться все, кому не лень, не только солдаты и офицеры. Но плохое время всё не кончалось, а крови лилось всё больше, и вот наконец её стало литься слишком уж много, и палаты не вмещали всех страждущих. Я еле успевал отмывать от крови крашенные масляной краской полы. Я белил оконные рамы и подоконники, когда в палату вбежала растрёпанная девушка, лицо у неё было перекошено, как старая стре-

ха, и провизжала истошно: люди! люди! вы слышали! революция!

Я не знал, что это. Воззрился на девицу, а она возьми и упади на пол, плашмя, и громко стукнулась головой об пол, я подбежал, а она уже закатила глаза, и тут я увидел, что у неё простреленный бок залит кровью, и кровью пропиталась длинная неуклюжая юбка, и она кровью своею захлебнулась. Это была вторая смерть, которую я зрел в жизни, после отцовской тихой кончины в родной избе.

Революция изломала прежнюю жизнь и со- блазнила другой, несбыточной. Люди привыкали к новому порядку вещей; люди ко всему привы- кают, и Мирь становится единым лазаретом, где все страдают, вопят, смеются, молятся, едят, пьют, выздоравливают и умирают, но только нико- гда, никогда не воскресают. Я рос в лазарете, как фикус на белённом мною подоконнике. И я вы- растал, и я осознавал себя, лазарет и таинствен- ный Мирь за окном, где бесконечно творились революции и войны; и я, ухаживая за ранеными, усиленно участвовал в страшных и прекрасных событиях, ибо тот, кто живёт, не может не жить, кто дышит, не дышать не может.

Я, молодой, хотел стать героем. Кто в юности не хочет стать героем! Врачи потихоньку научили меня не только мыть грязные полы, но и перевя- зывать раны, я помогал хирургам на операциях, не падал в обморок при виде разверстых внутрен- ностей, вовремя подавал иглу и кетгут, а иногда и скальпель, и следил острыми юными зрачками, как делает разрез хирург, что он находит внутри человека и вынимает, выдирает, выбрасывая в кровавый таз, а что накрепко сшивает, не развязать. Я всё запоминал. Не думал, что это мне пригодит- ся. Просто молодой организм как хлеб: его окуни в воду, он впитает воду, окуни его в рассол, он всосёт в себя рассол, окуни в вино — он впитает вино. И станет Причастием. Святыми Дарами.

Красные полотнища вдоль улиц! Колыханье знамён, рук, голов на площадях! Народ наш стал морем. И я стал в народе волной. Я катился, нака- тывался на берег прошлого. Понимал: надо не наблюдать Время, а вбирать его, глотать! Иначе оно нахлынет на тебя и потопит тебя.

И настал день.

Я, санитарिशко, мальчишка, ассистировал маститому хирургу, а на ярко освещённом голом

столе лежал голый человек, лишь ноги его были укрыты чистой простыней. Врач взмахивал изящными руками. Он дирижировал жизнью и смертью. Внезапно раздался сумасшедший звон. Будто массивная старинная люстра свалилась на пол из-под потолка. Я отскочил. Врач постоял немного над оперируемым, покачался странно, как пьяный. И повалился на пол. Искал рукой неведомое. Пытался разжать рот и вытолкнуть слово. И не мог. И на груди у него, по белому снегу халата, расплывалось алое дикое пятно. Это пуля влетела, разбила окно, вслепую нашла жизнь. Оборвала её.

Хирург не терял сознания. Он глазами показал мне на стол. Протянул ко мне руку. В кулаке скальпель. Он тянул мне, мне хирургический нож! Острый, как молния!

Он всё понимал, я — ничего. Я схватил скальпель и шагнул к столу. Раненый хирург пробормотал:

— У него пулевое... и у меня пулевое... оперируй... ты знаешь всё...

Я поднял скальпель над распятым на чистом столе телом человека.

Тело человека — тесто. Его можно мять, шлёпать, резать, крошить, кромсать. А что же тогда душа? Где она прячется?

Я спросил раненого врача, на полу лежащего в корчах:

— А кого сначала? Вот его, или, может, вас?

Я прохрипел эти слова, как древний старик.

И он выплюнул последнее хрипенье мне в ответ:

— Его... он уже готов... меня... разденьте...

Пока ошалевшие нянечки в белых фартучках стаскивали с доктора одежду, он умер. Я же в это время вонзил скальпель в тугую плоть человека и безжалостно разрезал её, и было мне страшно, и я дрожал, будто стоял на берегу зимней зальделой реки под сильным ветром, и ветер валил с ног, а я всё стоял и стоял, всё резал и резал, и разымал красное тесто голыми руками, и всхлипывал, и моргал, слёзы ослепляли меня и заливали лицо, захлёстывали, я ими захлёбывался, а потом сосредоточился, стал яснее, твёрже глядеть, я все помнил, что надо делать. И старенькой толстой нянечке, она ближе всех встала ко мне и тоже осиновым листом дрожала, я командовал, как настоящий хирург: иглу... кетгут... Погас над опе-

рационным полем свет. Перегорела лампочка. Другая нянечка, молоденькая, девочка совсем, медленно подошла, зажгла керосиновую лампу и выше, выше, высоко подняла над нами.

Мёртвого доктора, пока я оперировал, подхватили под мышки и под колени и унесли из операционной. Кто были эти люди, я не знал. Не понял. Я ничего не видел тогда, кроме красной, сочащейся кровью, как вином, плоти.

Так, доченька, я стал доктором, молодым, без образования, самодельным доктором, и я понял, мне надо учиться, и меня отрядили учиться, и я учился бесплатно, сжалились над сиротой, и взрослые умные, опытные врачи терпеливо, подолгу занимались со мной, да не только со мной, там, где обучали на врачей, много юношей толклось, клубилось. Днём я учился, а вечером пребывал в лазарете, война всё шла и шла, и солдат всё привозили и привозили, и коек уже не хватало, раненых размещать, и я вдруг решил: лучше я на войне пригожусь, поеду-ка я на войну.

Поздно вечером я еле ноги притащил домой, в нашу комнатёнку, что мы с братом снимали. И сказал ему о своём решении.

— Я уеду на войну!

— Ты с ума сошёл...

Брат долго и слёзно говорил мне, что я юн, что я отрок, что мне рано.

— Я уеду!

— Жизнь твоя только началась, тебя убьют на взлёте...

— Пусть! Зато я спасу жизни других!

— Дурак, их убьют следом, завтра...

Брат наливал мне в гранёный стакан горячего чаю, я ухватывал кривую ручку подстаканника и хлебал крепкий чай, обжигая глотку. Тогда мы поссорились, накричали друг на друга. Напоследок, постлавши себе постель, брат угрюмо сказал в стену, не глядя на меня:

— Не спеши, будет ещё война, тебя ещё успеют убить!

А потом обернулся и бросил, как кость собаке, зло и насмешливо:

— И порезать и зашить целую толпу — успеешь.

Тем не менее я сходил с ума. Время передо мной, перед моими глазами, а потом и внутри меня, будто я был женщиной и носил в животе жи-

вой огненный плод, то сжималось, то разымалось на части, то ложилось трепещущими слоями, то взрывалось, и я на миг терял зрение и кричал. Да, возможно, я и вправду одною ногой ступал в безумие, зато другою я прочно стоял на земле, я знал: есть болезнь, и есть здравие, и я клал мою молодую жизнь к подножию общей, великой и кровавой Жизни-Распятия, в городе с храмовых колоколен лился то тяжелый и гулкий, то нежный и прозрачно-птичий, весенний звон, а мне было недосуг заходить в церковь помолиться и поставить свечу: я задышался от работы, и хирургия была моим светом в ночи, слоями моего Времени, моей любовью. Я не знал, что есть любовь, и я все равно женился — на той самой молоденькой нянечке, что керосиновую лампу над голым столом держала, пока я впервые резал человека. Нас обвенчали, несли над нами златые венцы, за скудно накрытым столом люди, знакомые и незнакомые, пили дешёвое вино за наше здоровье и семейство, и мне всё чудилось сном, да это и был сон, сон о счастье и Мире. Моя нянечка родила мне детей, а я всё дальше, всё бесповоротней уходил по дороге священного безумия. Безумие мое, дитяtko, заключалось в том, что я хотел не в одном лишь родном лазарете лечить людей, а пуститься в дальний путь — по земле, по войне, по широкому Миру, и на этой длинной, страшной и бесконечной дороге лечить, лечить, лечить. Дарить, дарить, дарить. Отдавать, отдавать, отдавать. И не брать. Не брать никогда.

Откуда такое желание ко мне пришло? Я никогда не задумывался о том, что есть Бог. Честно, мне было безразлично, есть Он или нет; главное, был я, и я хотел, я желал, я радовался и страдал, но мне моего «я» было мало. Смертельно мало! Я хотел размножиться. Рассыпаться, разрастись, разлететься на сонмы звёзд, хлебных крошек, брызг спасительной крови. Я совершил в лазарете переливание крови от себя — раненому солдату, и возгордился: я своею кровушкой накормил голодного! Спас обречённого! Солдат, повернув забинтованную голову на подушке, по время переливания глядел на меня. Глаза солдатские слишком светлые, два копыя, летят впереди лица, белые, серебряные, будто седые. Эти глаза видели поля смертей. Созвездия смертей. Снопс смертей и её стога. Убитых людей Время сгребало в стога, а я? Что я делаю тут? Да, людей

спасаю. А столько людей на земле — меня ждут! Разве я их покину!

Безумие одолевало. Я снаряжался в путь. Я уже понимал, что сама жизнь, каждый встающий день — это путь; но мне до боли, до слепоты хотелось живого долгого пути по настоящей земле.

Спасать. Исцелять. Я не знал тогда про Пантелеймона Целителя; но я видел себя в пути — то в железной повозке, то в телеге, то пешим ходом я иду, иду всё вперёд, вперёд, и бедные, страждущие, больные люди, что встречаются мне на пути моём, тянут ко мне руки, а я к ним руки тяну, подбегая, обнимаю их, а потом из котомы достаю вату, бинт, шприц, иглу, коробки и пузырьки с целебными снадобьями, а то и скальпель, — живой, спасающий нож: и убить можно, и излечить, — а можно убить по ошибке праведника, а можно излечить преступника.

Я догадывался: жизнь не однолика. Много хочущих и плачущих лиц у жизни. Её не истолковать и не оправдать никому и никогда. Но можно пронзить собою, как иглой, на шприц насаженной, Время. Время! Вот что волновало меня. Я прочитал книгу про старого пророка Нострадамия, меня изумила его история. Врач он был, тот Нострадамий, равно же как и я! А вот поди ж ты, пророчил, угадывал грядущее. Я редко думал о будущем. Я знал: в будущем — смерть. Я отталкивал мысль о ней от себя: я и боялся её, и смирялся перед ней, и ненавидел её, и внушал себе, что она придёт, но не ко мне. А к кому-то другому! Рядом! Близко! А до меня не дойдёт. Споткнётся. Упадёт.

Это тоже был род безумия: я отрицал смерть, прекрасно понимая, что только она одна и есть в жизни. На моих руках уже умирали люди: и под скальпелем на столе, и на железной койке, и на улице, когда стреляли, палили вслепую из-за угла в белый свет, как в копеечку, и я бежал мимо убитых, а внутри меня кричали, вопили их убитые голоса: спаси! Помоги! Даже если нельзя помочь!

ДАЖЕ ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ПОМОЧЬ.

Огнём этот крик горел внутри меня, я его помнил всегда, я пытался стряхнуть с себя это огненное клеймо, но безнадежный вопль всё звенел в пустом, пахнущем порохом, потрясённом воздухе, и я был потрясён всем: болью, войной, Временем, собой. Я не знал себя. Но каждый Божий день я собирался, снаряжался в путь, и снаряже-

ние это было никакая не экипировка, не добыча крепкой одежды впрок, не покупка провизии, — я, пока дети мои кричали в колыбелях, собирал в долгий путь пожитки сердца моего, собирал скальпели, иглы и кетгуты души моей в дорожную суму. По карманам рассовывал, как тот мимоезжий богатей, дорогие самоцветы и жалкие монеты воспоминаний, признаний, смеха и слёз.

Ты спросишь: может быть, так посетило меня желание совершить подвиг? Молодые люди часто мечтают о подвиге. Я ничего не говорил жене; она хлопотала на кухне, возилась с детьми, а я сутки, недели, месяцы и годы напролёт пребывал в моём родном лазарете — и всё собирался, собирался, собирался в дорогу.

Понимал: да, всё нужно с собою взять — и еду, и тёплые вещи, и лекарства, и хирургические инструменты в стальном контейнере, чтобы на спиртовке можно было их вскипятить, если понадобятся, и обеззаразить; и фотоснимки любимых, незабываемых, и деньги, хоть немного, и, может, даже револьвер, а вдруг придётся отстреливаться от разбойников. Револьвер у нас дома имелся, тихо лежал в верхнем ящике письменного стола. Я не знал, откуда он появился. А брат мне не говорил. Жена знала, где хранится оружие, но тоже молчала. Ничего не спрашивала.

Пораздумав, револьвер я решил не брать. Подумал: если суждено умереть от чужой руки, умру! Приучал себя к мысли о смерти, повторял: она придёт и ко мне. Выбирал день ухода из дома. Со дня на день его откладывал. Задумаешь нечто важное, и всегда оттягиваешь момент, когда надо это важное сделать. Родить.

Бабы вон хорошо говорят: родить, нельзя погодить.

Жена моя то болела, то выздоравливала. Однажды мне причудилось — она умирает. Я напоил её лекарствами, укрыл тремя одеялами. Она молчала. По её лбу катился пот. Она тяжело и долго смотрела на меня. Я — на неё. Я шептал ей: ты будешь жить.

Я повторял старинную молитву: неужели мне одр сей гроб будет?

Дитя моё, прости, я забыл, выздоровела моя жена или умерла. Я так часто хоронил людей. Глубоко во мне звучала музыка, она заслоняла от меня происходящее, как занавеска закрывает

горящий перед окном фонарь. А может, мне лишь приснилось, что жена при смерти, и я сижу у её смертного ложа и вслух читаю святую книгу Псалтырь, какую всегда у постелей умирающих читают.

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие моё. Слышишь, какая музыка?

Я вынашивал мой путь в себе. Я слишком часто и ярко его воображал. Приближал. Уже в руках держал. Мой путь был моей птицей. Моим живым Ангелом. Моим искуплением. Перед тем, как уйти навсегда, укладывая скальпель в железный контейнер, я поцеловал его: так древние князья целовали перед битвой свой меч.

Помню, как на сон грядущий я расцеловал жену и подошёл к нежным кроваткам детей. Дети уже спали. Я склонился и припал губами ко лбу дочки. Потом поцеловал сына. Под моим ртом поплыла волна родных запахов, чуть вспотевшая кожа, поплыла жизнь, стронулась с места и стала уплывать, удаляться, и я не мог её остановить. Время текло нерушимо, невозвратно. Не помню, сказал я тебе о Времени, дитя? А видишь, как я хорошо всё помню.

И, когда жена уснула, я зашёл в кладовую, подхватил там солдатский мешок, закинул его за спину, перекрестился и беззвучно распахнул дверь и переступил порог.

Что меня вело? Кто надо мной висел то в морозном, то в дурманящем весеннем, то в пыльном-солнечном, то в сыром, уставшем от дождей воздухе, вспыхивая, светясь, неслышно плача, улета, возвращаясь, мерцая? Я ни о чём не думал. Я шёл. Я превратился в действие.

Есть разница: ты мечтаешь о том, как жить, или ты так живешь.

Я хотел подняться на ступень выше.

Или ты любишь, или ты сама любовь.

Я ещё не знал тогда про святого мученика, что сказал сарацинам: АЗ ЕСМЬ ЛЮБЫ. Но я хотел стать не наблюдателем жизни, а самою жизнью. Ею можно стать лишь тогда, когда ты ничего не боишься. Это трудно. В человеке глубоко и навечно поселился страх. Живёт там, не умирает. Страх бессмертен. Гвозди Распятия в ладонях, во ступнях — тоже страх. Я шёл по своей первой дороге, от дома на вокзал, и вдруг, непонятно поче-

му, постучался в станционный домик: там горело окно. Старая работница железной дороги отворила мне дверь. Я переступил порог, опустил котомку наземь. Старая женщина пристально смотрела на меня. Я ждал, когда она меня о чём-то спросит. Она молчала.

Молча набросала дров в подтопок, разогрела чайник. Молча выставила на стол кус подсохшего пирога. Я вынул из перемётной своей сумы хирургический скальпель и, усмехаясь, молча разрезал им, сверкающим, старый пирог. На два куска. Она взяла свой, я — свой. Мы медленно жевали чёрствый пирог, прихлёбывали пахнущий хвоей чай, и я удивился тому, что можно не говорить, молчать. Сидеть и молчать. Есть и молчать. Разговаривать молча. Глазами. Сердцами.

После трапезы я пожал обеими руками её руки. И из её глаз по её щекам покатались слёзы.

Я смотрел на эти слёзы и думал: вот горе, я вижу его, надо помочь.

— Хотите, я буду вашим сыном?

Сморщенное лицо на глазах становилось святым ликом.

— Хочу. Откуда вы знаете, что у меня сына убили?

Не помню, что я ответил. Помню, что прошептала она.

— Ты на войну идёшь, сынок?

— Да. На войну.

— Ну, Господь храни тебя.

И она перекрестила меня широким, неохватным, как ветер, крестом.

Я закрыл глаза и ясно, ярко увидел перед собой её убитого сына. Он лежал на земле, раскинув руки, желая обнять небо. Земля была схвачена морозцем, расчерчена бело-грязными полосами злого хрустального инея; вдали маячил расстрелянный храм, стена осыпалась, и наружу, в ледяной Мирь, глядели искалеченные фрески, и ветер выдувал вон из сельского придорожного храма всё святое и намоленное. Потом я увидел убитого — живым. Сын вокзальной работницы сидел на корточках перед закопчённым котелком, хлебал расписной деревянной ложкой варево, весело глядел на меня. Сквозь меня. Он меня не видел. Только думал, что видит. Я услышал его далёкий, хриплый и весёлый голос:

— Эгей, Васька, давай, налегай, перед смертью хоть пожрать от пуза, напоследок.

Подошел, вминая сапоги в ласковую плывущую грязь, солдат. Постоял над костром, над котлом.

— Перед смертью, товарищ, Богу молиться надо.

— А не Красной Звезде?

Солдат молчал и стоял над походным котелком, грозный и печальный, как судьба.

А потом повернулся и отошёл прочь: так уходит Время.

И оба солдата исчезли из круга света моих незрячих глаз.

Я бы солгал тебе, дитя, если бы сказал: я не вспоминал жену и детей. Вспоминал! Но светились они сквозь времена словно бы в жизни иной, не моей. Я не умел тогда молиться, но я шептал: Господи, смилуйся, Господи, помоги бедным моим, дальним. Ножки твои замерзли? Дай укутаю их одеялом. Верблюжье, колючее, не греет, где они, милые, быстрые ноженьки твои? Умерли? Ах, нет, вот, живы, ну, грейся, согревайся. Плохо тут топят, печь дымит, а нынче она холодна, мертва. Да не будут топить, видать, мыслят так: всем болящим скоро помирать, нечего на них дрова тратить.

Молод я был! Любви хотел. В карман исцарапанного кошками кожаного пальто руку запускал и мял, сжимал билет на войну. Везде человеку нужен пропуск, билет, разрешение. Пешком на войну слишком долго было идти. А я трясся в железном вонючем вагоне и думал о любви. Надо ведь жадному молодому сердцу любить, без любви оно прах. Я шарил глазами по населению вагона: тот старик, эта старуха, в руках корзина, капустными листьями укрытая, за ними юноша, молочные губы, кисельные щеки, а где же та, о которой я буду мечтать? Твердил себе: мечтай о супруге, это законно, прилично, — но ветер жизни налетал иной, он сдирал с лица старую краску, обрушивал древние стены прочной кладки, и вниз, к земле, по кирпичам лились потоки крови — моей, чужой, небесной. И кровь, распаяясь, текла во мне другая. И всё чаще я видел картины, которые видеть человеку нельзя, иначе он потеряет разум.

Я многого хотел. На многое надеялся. Чтобы возлюбить людей, утешить их и обласкать, я ехал на войну. Война, царство смерти, манила меня новой жизнью.

Если совсем уж честно, я хотел узнать тайну смерти.

Я, молодой врач, уже зревший сто разномастных смертей, её не понимал. Зачем она? Как она происходит? Почему мы вытаскиваем человека из её объятий, иной раз больно, насильно? Зачем исповедаться перед смертью? Зачем прощаться? Где предстоит встреча?

И ещё тьма вопросов жгучими пчёлами летала, жужжала вокруг моей дорожной бессонной башки, и не было мне на них никакого ответа.

И вот, когда наш поезд, перестукивая громадными железными колёсами и всеми стальными потрохами, гремя деревянным утлым скелетом, позванивая жестяными и картонными перегородками ящиков-вагонов, где ютились мы, бедные скитальцы, наконец, весь в саже и дымах, осторожно, как мышкующий лис, подкрадывался к последнему перрону, я вдруг увидел её.

А вот не надо было видеть.

Надо было закрыть глаза.

Но и с закрытыми глазами я бы её увидал.

Русая коса, туго заплетённая, с затылка перевалилась на плечо, текла по груди. Грудь дерзко-высокая, два наметённых за зимнюю долгую ночь сутроба. Щеки бледные, на скулах еле видный, призрачный румянец, потусторонний. Глаза медленно перевела от окна, куда глядела неотрывно, на меня. Я чуть не закричал: меня обожгло чистой небесной синевой. Я и не думал, что живые радужки могут хранить внутри такую Богородичную синь. Подняла руку и поправила пшеничную длинную прядь, завернула за ухо. Голова непокрытая, шубейка расстёгнута, кудрявая овечья шкура радостно выворачивается наружу. Я различал капельки пота у неё над губой. Не помню, рот улыбался или был скорбно сомкнут. Только небесные глаза летели сквозь меня. Я прочитал в этих странных, иномирных очах лишь одно, ужасающее, желанное: Я ТВОЯ ДУША.

Душа? А где она?

Что такое душа?

И зачем она в теле живёт?

Мои глаза вливались в её глаза, поселялись там навек, жили, плавали, вспыхивали, перемещались, припоминали, забывали. Из её синевы покатались светлые слёзы, и я заплакал.

Слёз моих я не стыдился: разве себя перед своей душой стыдятся?

Она чуть выпрямилась, и я увидел, какая она мощная. Спину выгнула. Сильная стать. Крепкая, тяжёлая и радостная лепка лица. Щеки зарозовели сильнее, зарёй в полях. По полю её груди могли идти кони, коровы, молчаливые люди — вдаль, далеко, к новым небесам. Складки холстины струились, сама себе она в полутьме избы پوشила платье, сама износит, сама сошьёт и саван, когда время придёт.

Я встал с соломенно-жёлтой деревянной скамьи и направился к ней. И, пока я шёл, я видел: тает лик, тают сильные рабочие руки, разымается на туман и тучи щека, заволакивается пеленою снега ясная слепящая синева. Где ты? Где ты, моя Душа? Зачем я не спросил тебя о главном? Куда мне идти? Прав ли я, что выбрал такую жизнь? Или это жизнь сама, смеясь надо мною во весь голос, выбрала меня?

Я растерянно стоял около пустой скамьи. Возможно, красивая синеглазая молодуха вышла на недавней остановке. А я не заметил, как железная гусеница встала, постояла, потом опять покатила вперёд. Все вперёд и вперёд. Все вдаль и вдаль.

Для себя я называл красавицу Душенькой. Душенька, Душенька, шептал я, ты же моя Душенька, как же долго я жил без тебя.

Поезд содрогнулся и остановился.

Дальше не поехал.

Мы прибыли на войну.

Я, вместе со всеми, вышел на перрон и стал прислушиваться: где стреляют, где взрывы, где канонада, в какой стороне? Пространство молчало. Воздух нежно дрожал. Сколько мы ехали? Я не знал. Неделю, месяц, год, два? Когда я воочию узрел мою Душу, Времени уже не существовало. Я привыкал жить без Времени, но это было не безвременье; скорее вневременье. Да, я уже шёл по перрону и улыбался вне Времени, и мне было так легко, невесомо, я готов был расцеловать каждого встречного-поперечного, всякого, кто попадался на пути — хоть царя, хоть генерала, хоть комиссара, хоть торговца, хоть нищего, каллику переходящего. Мой народ гомонил и кричал вокруг меня, и мне счастливо было чутя себя его семенем, маковой росинкой.

Шёл и шёл, спросил прохожего, где идут бои;

мужик показал мне, прищурился, однорукий, пощупал целой рукой пустой рукав.

— Иди пешком, а хочешь, найми шофёра, а хочешь, останови телегу!

Я поглядел на дорогу. По ней катили грузовики, изящные авто, нелепые велосипеды с колесами огромными, как облака; грохотали танки. Я впервые увидел танк и содрогнулся. Таким железным домом на скрежещущих гусеницах можно раздавить в кровавую лепёшку землю, годы, жизнь. И раздавленное — не воскресить.

А разве после смерти обязательно воскреснуть?

И кто, и зачем тебя воскресит?

Я вспомнил моих мертвецов в лазарете. Они мучились, выгибались на койке, обирали дрожжащими скрюченными пальцами мягкую простынь, потом опадали, как выбитый ковёр, кто прикрывал тяжёлые веки, кто так и лежал, с настезь открытыми, недвижимыми, мерцающими подземным льдом глазами. Смотрел я на них, юный врач, и думал: нет, нету там, за могилой, ничегошеньки, никаких мытарств, никакого воздаяния, никакого Ада и Рая. Ничего нет. Чернота. Пустота.

На дорогу я глядел, телег не видел.

— А разве сейчас остались лошади?

Мужик присвистнул и мелко, дробненько захохотал, и обнажились редкие, жалкие зубёшки.

— А как же! Сотни лошадок! Тыщи! Не сочтёшь! Кормилицы наши, поилицы... возилицы...

Я оглядывался.

— Да нет, говорю тебе! Какие лошади! Какие телеги!

Я шагнул на проезжую часть и вскинул руку. Остановилась железная повозка, водитель выглянул в окно, я встал на высокую ступеньку, забрался в кабину. Никогда не видал я таких машин, а вот увидел. Чудно ехать, сверху, из царской кабины, глядеть на мчащийся вокруг невозвратный Мирь.

— Куда тебе, старик?

— Я не старик.

— Брось! Все мы старики! В Лопасню, что ли? По дороге!

— Туда, где люди людей убивают, — тихо ответил я.

И парень, курево в зубах, снеговая улыбка, больше ничего не спросил меня.

Ехали молча и глядели в никуда.

Милая, светлая моя! Согрелась? Обо мне не беспокойся. Кому я сейчас нужен, горячий ли, замерзший! Помню то великое, дегтярно-чёрное звёздное небо над полем моего первого боя. Слух пронёсся меж солдатами: доктор приехал! Все сбежались глядеть на меня, как на диво. Попытались накормить. Я ел. Где я спал? Окопы, хатки, палатки, землянки, разрушенные срубы, сгоревшие сараи. Мы жили везде и спали везде. Не жалуюсь, не разбирая. На войне никто ничего не говорит, только все всё делают. Война — молчаливое искусство.

Отдаются только приказы. Звенят крики команд.

И гром залпа. И летит огненная смерть.

Наше дело правое. Мы победим. А если не победим?

Что нас ждёт? Нас всех? И врагов, и друзей?

Некогда было искать ответов. Я еле успевал поворачиваться. Обезболить. Перевязать. Вытащить пулю. Выпростать из красного мяса дикий чёрный осколок, стальной коготь. Десятки осколков, иной раз и сотни, не вытащишь, изымаешь лишь самые крупные, чтобы сильной муки не причиняли. Раны воспалялись. Гноились. Я вытирал лицо от пота и слёз гимнастёркой: мне выдали обмундирование; глубже надвигал на лоб каску: бойцы кричали, ты, доктор, ты давай береги себя, ты тут у нас один-единственный, тебя убьют, и кончен бал, погасли свечи, и в тюрьме моей темно! Кто нас будет спасать? Жизнь нам возвращать? Под моими руками не только оживали — умирали люди. Смерть солдата в бою, смерть солдата в лазарете. В бою — погиб смертью храбрых, а в лазарете? В лазарете — какую смертью умер? Почётной? Или незаметной? На завтра тебя, лазаретный окровавленный тюфяк, забудут. Вынесут на задворки и сожгут. Подождут старую газету, бросят в тебя, и займёшься ты великим пламенем, и сгоришь в одну минуту, как тебя и не бывало.

Ночами солдаты старались отдохнуть — и мы, и враги. Бой развязывали рано утром. Немного поспали — и за работу. Работа смерти тяжела. Страшна? Да. Первое, самое первое время. Потом привыкаешь. Глядишь из-под затянутой пятнистой тканью каски вокруг, туда-сюда. Откуда смерть твоя прилетит? И кто о тебе заплачет?

То и дело я оперировал моих воинов. Говорю

«моих», ибо все они были моими, принадлежностью моих врачебных мыслей, моей души, моих работающих неусыпных рук, моего страдающего духа. Очень много было ранений в живот и в голову. В животе таится жизнь; в голове живёт мысль. А дух? Где он живёт? А душа? Душа?

Душенька...

Солдаты соорудили мне в огромной, как цирк шапито, палатке хирургический стол — необъятный, как зимнее тоскливое поле в играющей обезумевшими звёздами ночи, когда нельзя до дна вдохнуть мороз: обожжёшь лёгкие. И без перерыва, дико, скорбно и умалишённо, всё несли и несли, всё тащили и тащили мне на этот стол раненых. Пока они жили ещё — раненые. Если я их не прооперирую, через минуту они будут трупами. Я это понимал! И руки мои наливались чугуном ярости. И, когда я взмахивал руками, обтянутыми резиновыми перчатками, над разъятым операционным полем, они, руки мои, становились лёгкими перьями, облачными крыльями, птицами в приговорённой к чёрной казни синеве. И летали. И точно хватали, и жестоко и быстро резали. И шили, шили, шили.

Кройка и шитьё.

Опять полостное ранение, и опять пуля застряла глубоко, в потоках крови, месиве мышц её не так-то просто изловить. На войне ничего не происходит случайно. Особенно смерть. Говорят: вот, он пошёл в бой, и его случайно подстрелили! Нет. Ему всё было назначено. Война — слишком многозубый гребень, а коса Времени слишком густа. Мы издаём крик, когда гибнем. Я слышал эти последние крики. Я видел, как на моём рабочем громадном столе, под моим узким зрячим скальпелем, мечется человек, предсмертно хрипит, прерывисто вздыхает, охваченный страхом, тоскою, ужасом. Это ужас перед вечностью. Вечность совсем не высока, она не подобна небу. Она страшна и уродлива. Ибо для многих она — пустота. Под моей рукой, во вскрытой грудной клетке, билось и дрожало чужое сердце. Разрезана брюшная полость, сломаны рёбра, надо делать прямой массаж сердца, иначе оно остановится от болевого шока. Может, сделать укол камфоры прямо в сердечную мышцу? Я твердил себе: мышца, мышца, это всего лишь кровавая мышца, — я приказывал подать мне один препарат, другой, солдаты толклись рядом серой призрачной мош-

карой, и каждый из них был человек, и они смотрели на распяленного на деревянном столе человека, и гадали, выживет или не выживет. А сам раненый с ужасом глядел на меня. На скальпель в моей занесённой над ним руке. Поворачивал голову. Оглядывал стол, резиновые трубки, хирургические железяки, веревки, коими был к столу крепко привязан, чтобы вдруг не дёрнулся от жуткой боли, не свалился наземь. В мечущихся туда-сюда его глазах я читал: вы не врач! Вы сатана! Вы стоите у входа в Ад! Вы меня не спасёте, а прямо в горловину смерти введёте! И бросите там! Навек! Навсегда! Дигоксин, кричал я, быстро мне дигоксин! Солдат, что мне ассистировал, в миру учился на врача и разбирался в названиях лекарств. Он набирал снадобье в шприц и протягивал мне, не глядя на меня, а глядя на раненого. На умирающего.

Белый халат. Белая маска. Я не должен дышать на больного. Иначе я могу его заразить; а вдруг у меня грипп? Раненый начинал мотать головой из стороны в сторону. Будто гневно, полоумно отрицал нечто, отвергал. Таким движением можно вызвать у себя сильнейшее головокружение, опьяниться, забыться, потерять разум. Резиновые перчатки обтягивали мои руки, будто их окунули в клей, и они высохли, и пальцы слиплись, надо их растопырить, две пятерни. Я поднимал обе резиновые руки над красным ковром пульсирующих внутренностей. И нечем, нечем мне было больного усыпить. На время? Навеки?

— Тебе холодно?.. ты согреться хочешь... согреться... Ребята, закутайте ему ноги... ну хоть чем... хоть курткой, хоть портками...

Я работал. Солдат, что в иной жизни учился на врача, зажимал кровеносные сосуды, чтобы операционное поле не заливалось кровью. Кровь, священная жидкость. Китайцы учили о священных жидкостях в теле человека: кровь, лимфа, сперма, слюна. Другой солдат заматывал ноги раненого в его же, насквозь пропитанные и заляпанные кровью, камуфляжные штаны. Но, и это было ужаснее всего, я понимал, я сердцем читал это в его всё тише бьющемся сердце: всё напрасно, не жилец.

Мотор жизни. Как он хорошо, жестоко работает. Неостановимо. И вот останавливается. Всего лишь миг! Я, хирург, разымаю острым тонким ножом чужое тело на части. Потом эти части

сшиваю. Разве сердце страдает? Разве болит и плачет душа? Плачут глаза, болит тело. Сердце испытывает тоску... разве это не обман? Самого себя и других? Тоскует наша мысль, не находя выхода, утратив радость существования. А сердце, вот оно: мешок с кровью, и бьётся ритмично, вдвойне, систола-диастола, и больше ничего.

Не уходи! Парень, не исчезай! Куда ты!

Я всадил иглу прямо в этот плывущий в крови живой корабль, в этот треугольный, залитый красной болью кисет, лекарство медленно уходило из шприца вглубь чужой плоти, плоть пила последний напиток, последнюю надежду, а я надеяться уже перестал. Не зверь, а человек умирает! Но ведь зверь умирает так же! Ему больно! Ему томно! Страшно! Тоскливо! Какой ужас: больной не теряет сознания, стоп, подожди, ещё не началась агония, ох, какая уж тут, к лешему, агония, сейчас всё произойдет, очень быстро, быстро и просто, не успеешь оглянуться!

Сердце, сосуды, артерии и вены, мышцы, мускулы, кости, я всё для вас сделал, всё сделал, всё...

Ещё есть рефлекс. На прикосновение. На укус иглы. Есть ещё. Есть.

Всё медленнее. Всё тише. Всё безысходней. Всё нежнее.

Я положил скальпель рядом с ним. Около его головы. Живой маятник замедлял ход. Мне почудилось: его череп медный. Послышалось: кость звенит, ударяясь о пахнувший гарью воздух.

...это как море, безумный столетний прибой, что мерно и бесконечно накатывается на берег, его неслышно целуя, и опять отхлынет, туда, далеко, к рыбам и подводным гадам, и опять подбирается вкрадчиво, смятенно, играя, полыхая всеми карминными, мандаринными, изумрудными глубинами, а может, всей топью, грязной и заразной, ужасом всех саргассовых змеиных сплетений, беспросветной темью всех болот, придонными тучами взметённого осьминогом ила, я никогда не видел моря, но я его сердцем увидал, когда под моими резиновыми руками вспыхивало и гасло солёное, облитое кровью сердце, святою кровью, бедной, нищею кровью, я держал его, я прижимал к нему ладони, под ладонью оно дёргалось, бессловесно крича мне: ещё!.. ещё!.. ещё немного!.. и уже не кричало, а хрипело, уже не вопило мне, а никло, таяло и тихо плакало, сердце, во вскрытой грудной клетке, тоже умело плакать,

красные капли стекали по судорожному тиксу слепой мышцы, по дрожащей сердечной щеке, деточка моя, я ощущал, сам колыхаясь, шатаясь на палубе корабля смерти, как ползут у меня по лицу — у меня!.. — густые, тяжёлые, жгучие, крупные, пьяно-солёные капли, и я слизывал их, глотал, а море смерти всё надвигалось, волна смерти всё поднималась и никак не могла обрушиться, а больной всё тщательнее скрывал свою близкую смерть, всё горячее притворялся живым, прикидывался бессмертным, и я уже почти поверил, я отнял холодные точные руки от плывущего вдаль пьяного сердца, а слёзы всё текли по нему, вниз, во тьму, и по моим щекам, под белой маской, тоже текли красные слёзы. Девочка моя! Как плохо плакать кровью! Кровь прорезает у тебя на щеках несмыаемые морщины. Ты, молодой, желторотый, враз становишься старым. Душа твоя на глазах твоих дряхлеет. Окостеневаает. Застывает.

Душенька...

Он волновался, переходя во тьму. Я это видел. Сердцем. Он терял регуляцию мышечной деятельности. Из-за страха: страх медленно накрывал его чёрной нефтяной простыней. Я стал путать чёрный и белый цвет. Чёрный халат. Чёрная маска. Чёрный скальпель, положенный мною рядом с медным виском. Медным лбом. Медными волосами. Почему он весь медный? Зачем он застыл в холоде древнего сплава? И уже патиной, паутинной зеленью затянуты тяжёлые веки. Резко, вызовом торчащая, исцарапанная скула.

— Не волнуйся, всё случится как надо.

Я вышептал это, себя не помня. Зачем я сломал ему рёбра? Зачем добывал из недр его памяти и боли сердце, такое живое? Невозможно остановить смерть. Она придёт ко всем. Война щедро дарит её, раздает направо и налево; и стараться не надо отыскать её секрет.

Рядом, в палатке, за тонким слоем бесполезного брезента, кричали люди. Мои больные. У одного была флегмона тазобедренного сустава, у другого ранение лица, и рана загноилась, как я ни лил щедрой бестрепетной рукою спирт. У третьего... четвертого... пятого... шестого...

У них у всех был один диагноз: СМЕРТЬ, и я не понимал, как можно этот приговор повернуть вспять.

Время же нельзя повернуть вспять. Время есть время.

Смерть есть смерть.
Может быть, это одно и то же, думал я.

Я опять положил руки ему на сердце. Всё тише, спокойнее билось оно. И моё тоже успокаивалось. Это было странно, но наши сердца бились в унисон. Оба утихали одновременно. Вот удары раздавались уже раз в десять секунд. Раз в полминуты. Раз в минуту. Вот прекратились совсем.

Я ждал. Держал чужое сердце в мёртвых руках. Главное, не зарыдать, я не любил плачущих мужчин, тем паче плачущих, над телом больного, хирургов. Хирурги пламенны, они не плачут. А что они делают, если под их руками, на столе спасения, умирает больной?

...всё сердце оплетено волокнами, красными водорослями, оно лежит будто бутылка вкусного вина в плетёной из краснотала корзине, блуждающий нерв то будит ужас и страсть, то усыпляет холодную бдительность, нервная система работает как часы, чувства обнимают одинокого человека, и вот он уже не одинок, но кто-то чёрный, там, за камнем, за угрюмой скалой, берёт булыжник и заносит над стеклянным циферблатом, и ударяет, и разбивает в алмазные осколки, в брызги, в кровь, в прах. Всё. Нет больше отлаженных часов. Нет нервов, сосудов и сухожилий. Есть красная каша из живого и мёртвого. Рвутся ростки. Развязываются водорослевые узлы. Распадаются в пыль волокна, нити, верёвки. Нет ничего. Нет.

Уже нет. Или ещё нет?

...БЫЛО В СЕРДЦЕ МОЁМ, КАК БЫ ГОРЯЩИЙ ОГОНЬ.

Откуда ударили мне в грудь эти слова? Зачем я их услышал? Чья-то жалобная рука тихо коснулась моего онемевшего локтя, и голос рядом мрачно промолвил:

— Доктор, не стойте так, не держите его больше, всё, амба.

Я оторвал неподъемные руки от иного тела. Оно было и вправду иное. Не просто чужое, но чуждое. Принадлежность Иного Мира. Человек лежал передо мной, вытянулся, молчал. Спал. Может, он широко распахнутыми, белыми от пережитого ужаса глазами видел меня? Он глядел на меня. Я протянул руку и рукою в окровавленной перчатке закрыл ему глаза. Кровь испятнала его лицо, в полевом лазарете уже заросшее щетиной.

— Я не хотел... прости...

Я вслепую цапнул с маленького стола, что бойцы соорудили из пустых ящиков, многослойную марлю и нежно, осторожно протёр ему заляпанное его же кровью, чистое от дыхания смерти лицо. Вот он воевал, и он умер. И я держал в руках его сердце.

Сердце человека.

Я понял: тайна кроется в самом биении сердца. В утраченном. В том, что ты потерял.

Оно и есть самое дорогое.

Живёт ли эта тайна вечно, об этом надлежало узнать.

Нет. Зачем распахивать тайну скальпелем знания.

В это надлежало ПОВЕРИТЬ.

Я отошёл от хирургического стола. Тот, кто учился в жизни иной на врача, стащил с моих вытянутых рук перчатки. Я сказал ему спасибо. Люди вокруг молчали. Я не чувствовал, что я на войне. Может, там, в близком поле, опять грохотали взрывы и свистели пули. Я не слышал. Под моими голыми руками всё так же билось, кричало чужое сердце, и оно было моё, и оно было — я.

Ночь тоже билась над нами, замершими в спальных мешках в палатках, всеми своими звёздами. Я не спал. В открытые глаза втекала тьма. Я встал, надел тёплую куртку и вышел вон. Сам себе казался медведем, что выполз из берлоги посреди зимы. Ветер крутил прозрачную позёмку. Иней расписал узорами впадины и трещины земли. Звёзды мёрзли, дрожали над полем и бессильно падали в воронки от снарядов. Я стоял без мыслей, без чувств. Лучшее, что я мог сделать на войне, это перестать мыслить и чувствовать. Если буду мыслить и страдать, не смогу оперировать. Лучше так. Свободно. Спокойно. Над полем. Стоять, как лететь.

Я глядел в Миръ, убитый войной. Вдруг с неба стал сочиться тихий свет. До рассвета ещё далеко. Взрыв? Пожар? Оружейные склады горят. Или бомбят ближний город? А мы тут, в поле, спим.

Свет разгорался и приближался. Он был плотным, хоть и бестелесным, нежно мерцал и снова затихал, становился ровным: струением позолоты, льющимся молоком. Он всё сильнее, а я всё растеряней. Я испытал страх, но

не тот страх, когда в тебя летит бомба, пуля. Другой. Когда я почуял исходящий от света жар, меня будто кто невидимый в спину толкнул. И я повалился на колени.

Перед светом.

Деточка, ты вставала когда-нибудь на колени? Да? Тогда ты знаешь это чувство. Ты молчишь, а изнутри тебя поднимается голос. Он твой, и вроде бы не твой. Извне. Он звучит в тебе всё громче. Ты радуешься ему, и ты ужасаешься его. Голос звучал и во мне. Зимнее поле со всех сторон охватывало меня молчанием. Небо обнимало меня вечным молчанием, и оно ужасало меня. Я глядел вверх, и звёзды меркли, ибо свет разгорался. Волосы на голове моей поднялись. Голос звучал теперь не только внутри меня, но и рядом, поблизости, и кругом, и везде, и вот он поплыл на меня с небес. Голос стал всем сущим: полем вокруг, моим прошлым, моим вчера, моим пугающим, в облаках танцующим завтра, жизнями людей, сверкающими инструментами, коими я дирижировал чужой болью и счастьем, возрождая или убивая. И я смирился перед ним, и я склонил голову перед ним. И я запоминал всё, что он говорил мне.

И голос говорил.

И я слушал.

И по мере того, как я слышал и слушал его, я стал молча ему отвечать.

Мы говорили.

**ЗАЧЕМ ТЫ НЕ ВЕРУЕШЬ В МЕНЯ?
СМЕЕШЬСЯ НАДО МНОЙ?**

Я не смеюсь над тобой. Я не знаю, кто ты.

ТЫ ВСЁ ЗНАЕШЬ, КТО Я.

Не ведаю. Прости меня.

**Я ТОТ, КТО ПОД ТВОИМИ РУКАМИ УМЕР
СЕГОДНЯ. Я ЕГО ДУША. Я ЕГО СЕРДЦЕ.**

Быть не может. Человек умирает навсегда. И не становится светом. Его в землю кладут и землёй засыпают.

Я ЕСМЬ ВСЕ ЛЮДИ.

Не может быть. Каждый человек отделен. Каждый человек это Мирь.

Я ЕСМЬ ЗЕМЛЯ, ВОДА, КАМНИ И ВОЗДУХ.

Ты свет, я это сейчас вижу. Ты не камень и не земля. Эта земля полита кровью. Мы ложимся в неё, убитые.

Я ЕСМЬ ОГОНЬ И НЕБО.

Ты лёшься с неба, я вижу. Свет и огонь, они братья.

Я ЕСМЬ ВСЕЛЕННАЯ.

Не верю. Ты просто свет.

Я ЕСМЬ ПРОСТРАНСТВО.

Что такое пространство?

Я ЕСМЬ ВРЕМЯ.

Как тебя исчислить? Запомнить?

Я ЕСМЬ ТВОЯ КРОВЬ. ОНА ПОМНИТ ВСЁ.

Кровь вытечет, если перерезать жилы.

Я ЕСМЬ ТВОЙ ГОСПОДЬ.

При звучании небесного рассветного голоса я сотрясся, будто был спокойно спящей землёй, и меня рассек надвое сильнейший подземный удар.

Господь, Господь! Но ведь Тебя выдумали люди, чтобы им спать спокойно! И на земле, и под землёй! Ты творение людей! Люди строят Тебе храмы, малюют Твои иконы, шепчут Тебе молитвы, но никто и никогда не видел Тебя!

МЕНЯ ВИДЕЛО МНОГО ЛЮДЕЙ ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА. НО МНОГИЕ СЧАСТЛИВЦЫ НЕ ВИДЕЛИ, И УВЕРОВАЛИ В МЕНЯ.

Я не верую! Прости!

ВЕРУЙ И МОЛИСЬ.

Не могу!

ПЕРЕСТУПИ ЧЕРЕЗ НЕМОЩЬ.

Не умею!

БУДЬ СИЛЬНЫМ.

Я слаб!

ИДИ ВПЕРЕД.

Я иду! Но ведь я на самом деле стою на месте! Это Время обтекает меня, движется мимо меня! Я несчастный одинокий остров! Лишь птицы живут на его берегах! А люди приплывают и уплывают, приходят и уходят!

ВОЗЬМИ МЕНЯ ЗА РУКУ.

Боюсь!

НЕ БОЙСЯ. НИКОГДА НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ. СО МНОЮ ТЫ СИЛЁН.

Как это может быть?!

СО МНОЮ ТЫ БЕССМЕРТЕН.

Это несбыточно! Смерть — есть! Она есть всегда! Она есть и для Тебя!

ОНА ЧАСТЬ МЕНЯ. ЛЮБИ МЕНЯ. МОЛИСЬ МНЕ. УВИДИШЬ, ЧТО БУДЕТ.

Мой голос оборвался во мне сухой заиндевелой травой. Я все ещё стоял на коленях, и колени мои прожигал смертельный холод, он поднимался из глубины земли, из недр войны и мороза. Колени примерзали к бугристой почве. Камни больно в них врезались. Я стоял и понимал наказанных детей, коих ставят за провинность в угол на горюх. Мне чудилось, из моих коленей течет кровь и питает нищую землю. Я все ещё задираю голову к небу, а свет уже начинал таять, разыматься на тонкие лучи, на сонные сполохи, на мигающие створы. Вот от него, громадного, на полнеба, остался среди звёзд один лишь пылающий тусклый фонарь. Керосиновая лампа. Свеча. Лучина. Тлеющая в остьюлой печи головня. Но и она погасла.

Умерла.

Кто со мной говорил? Неужели Господь Бог? Значит, всё не выдумки? Значит, напрасно одни наглые, жестокие люди смеются, а другие, нежные и покорные, верно соблюдают посты и обряды, длинной лентой движутся в сияющем храме к Причастию? Я вспомнил молитвы, какие знал. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим... Отче наш... Богородице Дево, радуйся... Да воскреснет Бог и расточатся врази Его... Рот бормотал начальные слова молитв; нет, не они нужны мне сейчас, мне нужен я сам. Спеть Господу мою песню. А разве у тебя, жалкий грешник, человеке, кромсающий особым ножом живые тела, спасая либо губя, разве у тебя есть за пазухой песня?

Я впервые в жизни молился. Не молитвой из Молитвослова, что смиренно лежал у покойного отца между иными книгами. Я молился сам, как мог, и молитва моя была странной, дикой и прекрасной. И не было ей конца.

...Господи, сделай так, чтобы я мог всю мою жизнь оперировать людей. Лечить. Лечить людей, это высшее благо. А ещё дай мне, прошу, особый дар. Только не смейся надо мной, Господи. Я хочу видеть Время. Провидеть его. Глядеть в его солёное колыханье и зреть, что там, в синеве, в клубящейся тьме, на самом дне. Где камни, водоросли, мох, искры мальков, живые бинты миног и угрей, глубоководные чудюща. Люди не ведают Времени. Потому что они его не любят! Время слишком страшно. Оно то разымается, то смыкается. Говорят, в чужестранных морях, на

большой глубине, ютится меж камней огромный моллюск, и, если нога или рука бедного ныряльщика попадёт между его открытых створок, они жадно захлопнутся: чудовище поймает еду, а пловец закричит истошно, да крика под водой никто не услышит, и, пока он будет, теряя мысли от боли, подниматься на поверхность воды, за ним потянется красная мантия крови. Она тут же растает в изумрудной толще огненным призраком. А человек вынырнет, солнце ударит его в лицо, но он всё равно умрёт. Умрёт от болевого шока либо от потери крови. Я знаю.

...нет. Он умрёт потому, что пришёл его срок.

И Господь его взял к Себе.

...Господи, а ещё сделай так, чтобы я по-новому ощутил жизнь и смерть. Я молод, но я уже так устал! Я хочу понять смерть. Иначе, чем вчера. Я её боялся. Она была мне противна. Я с ней смирялся. Я от неё отворачивался. Я относился к ней холодно и спокойно, старался её не замечать, хотя и принимать к сведению. «Доктор! Доктор! Сегодня в третьей палате умерла больная, от перитонита, гной откачали, но не предотвратили сепсис, заражение крови, высокая температура, несовместимая с жизнью. Экзитус леталис». Летать, улетать! Латынь тут ни при чём. Я иногда даже улыбался, когда медицинская сестра давала мне отчёт о жизнях и смертях в моём лазарете. Никто не спрашивал, почему я улыбаюсь, не говорил, что это невежливо или глупо. Мало ли что человек вспомнил, слушая речь о том, как другие умерли. Другие! Но не я. Не я! Не я! Я не умру!

Господи, да ведь и я умру. И все мы умрём; в особенности бойцы, здесь, на войне. Я среди солдат сам солдат. Я воюю со смертью. Каждый день, а то и ночью. Операционное поле освещают походными лампами. Иногда свечой. Живой огонь тоже позволяет увидеть детали внутренностей. Определить, что там, внутри у жизни — флегмона, карбункул, остеомиелит, свищ. Господи! Дай мне обнять смерть. Сделай её моей подругой!

И главное, Господи, дай мне узнать, что же такое душа. Что такое дух! И, озарённые ими, бестелесными, изнутри навек, на все посмертие, что же такое тело! Что есть наше тело, хилое, слабое, дрожащее, крепкое, богатырское, всё перекачивается играющими мышцами, никнет увялым стеблем, тело зверское, тело хищное, тело просящее, тело молящее, тело

беспомощное, тело помогающее, тело плывущее, тело застывшее, тело обнимающее, тело убивающее! Всё, что делается на земле, делают тела! Перемещаются в пространстве, сетуют на Время! Бормочут живым ртом то хвалы, то обиды! Сжимают в живых руках вечную любовь, а завтра с нею простятся навсегда! Хочу понять, что же тело такое! Почему я его оперирую, холодно прищурясь, а огонь горит во мне, внутри, горит там, где у меня сердце, под рёбрами, и, если я ошибусь, если плохой разрез сделаю, бесстрашно не выну червеобразный отросток ужаса, боли, тьмы, не выдеру вон из распластанного на столе человека, огонь во мне погаснет, и сам я почую смерть. И это я нынче умру. Отойдя от стола, будто палач от эшафота. И это я нынче не воскресну. Господи! Дай мне понять, что такое душа, и, может, это она во мне на всех моих операциях горит!

Дух, а что есть дух, Господи?! Не Ты ли сам и есть наш дух? Всеобщий дух, всесветный! Всемирный! Необъятный! Да мы и не стремимся Тебя обнять. Я понял: перед Тобой склониться надо! Вот так, так стоять на коленях, и это не стыдно, это не смешно, это не мучительно, а радостно, счастливо, так упоённо впервые мне молиться Тебе, что я теряю от Твоего небесного праздника разум! Да разум мне и не нужен. Он мне нужен, чтобы наблюдать сочленения костей и перевивания кровеносных сосудов! А так — никакого не хочу разума! Зачем мне оно! Сопоставлять? Решать? Загадывать? Разрезать плоть жизни вдоль и поперёк? Да, я есмь хирург! Я острый, опасный скальпель! Я режу, кромсаю направо и налево! Я страшен. Для врагов. Ибо я вооружён. Смерть — враг? Да первый враг! Самый главный! Человек только и делает, что борется со смертью! И всё равно умирает.

Господи, дай мне храбрость и спокойствие глядеть прямо в безносый череп смерти! Не боюсь её. Приму её. Только, пока я жив и топчу землю, не дай мне умереть: при жизни.

Девочка моя, я не думал — не гадал, что на войне встречу того, кого буду любить, кому буду поклоняться, с кем буду сражаться не на жизнь, а на смерть, от кого буду терпеть побои и унижения, кому буду поверять все сокровенные чувства, с

кем вместе буду раздумывать над нашей общей судьбой и вместе идти вперёд. Этот человек был, как и я, хирург.

Почему был? Может, он жив. Не знаю. А может, война сжевала его, кусок хлебной плоти.

Война нас всех сжует. Не пожалеет.

Работа у неё такая.

НИКОЛАЙ

Хирург. Безжалостный? Да. А зачем жалость, если речь идет о жизни. Две у тебя ноги или одна — а какая разница, если ты умрёшь. Я не просто оперирую: я предотвращаю. Тело — жратва для микробов. Один мой друг сказал: жизнь на земле убьют мельчайшие существа. Невидимые. Они выживут в любой войне и радостно размножатся там, где всё живое окочурится. Меня послали на войну, и я поехал. Я выполнил приказ. Хирургия моя проста, как лапоть. Не дать развиваться инфекции. Это значит, вырезать из тела все больные ткани и не бояться отхватить даже кусок здорового мяса. Все тела прошиты осколками, какая уж тут жизнь! Назавтра разовьется флегмона, а то и гангрена. И пиши пропало. Труп. Я работаю так: делаю широкий разрез, рассекаю рану. Оставляю её открытой. Шить нельзя. Иначе бактерии сожрут больного изнутри.

Многообразны военные травмы. Несть им числа. Я устал. Честно, я очень устал. У меня в глазах рябит от вида окровавленных тел, рваных ран, разрезов, зажимов. Особенно страшны раны живота. Я вспоминаю: от пули в живот, пущенной в него на дуэли, умер наш великий поэт. А тут не великие поэты, а простые солдатики мрут, как мухи, от полостных ранений. Если тебя ранили в живот, нужно побыстрее на стол. Пройдёт время, и будет поздно. Ты умрёшь. Как и не было тебя на свете.

Череп, это очень сложно. Я никогда не делал трепанацию черепа. Неужели здесь придётся? Не могу взять в толк, как надо разымать кости черепа. Целая наука. Я запасаюсь книжками. Найду, прочитаю. И всё буду делать по книжке, ха-ха. Может, получится. Но не верю. Скорей всего, мой первый череп умрёт прямо на столе. И я сам закрою ему глаза.

А ведь есть ещё грудь, руки-ноги, челюсти, гла-

за. Глаза! Я не офтальмолог. Я не смогу. Это другого сорта хирургия. Нужны лупы, зеркала, яркий свет, особые инструменты. У меня тут их нет. Значит, остается одно: лишать бойца глаза. Ну и что, кривой-косой, женилка цела, девки всё равно полюбят.

Я впервые видел всё страшное: взрывы, бомбежку, как земля чёрным веером вверх летит, раненых видел впервые. Кого на носилках тащат, кого под мышки да под коленки волокут. Брякают на стол. Товарищ военврач, срочно! Помирает! Я гляжу. Диагноз выкрикиваю. Мелкоосколочные в грудь, крупный осколок в брюшной полости, череп пробит! Соображаю: ранения, несовместимые с жизнью. Сейчас мужик умрёт. Прямо на моих руках. А люди надеются. Встали рядком вокруг меня и глядят на меня. Пристально глядят. А я ничего не могу сделать.

Начинаю делать. Делать нечего. Надо делать.

Человек на свете делает дело. Иного не дано.

На том свете делать он уже ничего не сможет. Того света просто нет.

Больно! Больно! Кто это кричит? Мой больной? Да, вон на той койке, у окна. Лазарет расположился в пробитом снарядами домишке около мутной речонки, она течёт в никуда. Я подхожу. Больно? Потерпи, друг. Больно будет недолго. Он умолкает. Помру, доктор, что ли? Криво усмехаюсь. Кто тебе это сказал? Бормочет: я сам знаю. Я ему, зло: ну, так если сам знаешь, лежи да не ори. Не терзай других раненых.

Осколочных ранений тьма-тьмушая. То и дело осколки в ведро выбрасываю, они звенят. Спать лягу — этот звон у меня в ушах. Кого оперирую под местной анестезией, новокаин вкачу, они лежат, зубами скрипят, иной раз я им между зубов щепку вставляю, чтобы вгрызлись крепче и не орали. Терпят. А кому даю общий наркоз. Мне ещё в городе присоветовали, в госпитале: ты там раненых щади. Они и так в бою побывали. Смертушку в рожу выдали. Жалей их. А тебе что, эфира жалко?

Эфир. Нежное название. Ночной зефир струит эфир. Да, помню. Ещё со школы.

— Не охай! Не стони! Оперировать буду.

— Когда, доктор?

— Да сейчас. Время не терпит.

— А больно будет?

Все боли бояться.

Пока живы — все бояться боли.

— Нет. Не будет. Ничего не почувствуешь. Уснёшь просто, и всё.

— Как это усну? Я спать не хочу!

— Мы тебя усыпим.

— Усыпите? Гипноз, что ли? Или выпить дадите? Так я ещё хуже разбушуюсь!

— Маску наденем на морду, особую, польём особым лекарством. Только дыши глубже. И ничего не бойся.

Они все всё равно бояться. Я сам боюсь. Сколько бы операций ни делал.

На лице солдата маска Эсмарха, он в ней дик и страшен, как марсианин. Сестра подносит эфир. Время, проходит время. Ждём. Солдат сначала бормочет невнятно, потом вопит душераздирающе, потом утихает. Ждём ещё. Хрипит. Спит. Спит? Да вроде бы. Всякое бывало. Спит-спит, я оперирую, и вдруг больной как взовётся! Голубем белым, и вот-вот в небеса со стола взмоет. Ну, начнём! Скальпель. Острый. Будто железную молнию в тело всаживаю. Сам себе Богом кажусь. Ну, глупости. Никакого Бога нет. Всё это сказки, про богов. Люди сами себе утешение в скорбях выдумали. Чтобы сильно не плакать по ночам. А, к примеру, молиться.

Режу. Вынимаю. Сестра умело орудует зажимами. Вынимаю. Бросаю. Режу опять, разрез маленький, надо расширить. Вынимаю. Последний осколок нашёл. Выкинул. Всё. Можно шить. Только бы у больного сердце не остановилось. Мышцы у такого силача под наркозом как тряпки. Спит крепко. Проснется ли? Может, мы с эфиром переборщили?

— Йод! Где йод! Бинты!

Поливают йодом. Накладывают стерильную марлю и бинты.

Я оставляю сестру рядом со столом. На столе лежит и спит человек. Я его только что спас. Или погубил. Я ещё не знаю. Сестра восторженно, во все глаза, смотрит на меня. Сейчас больной проснётся, и его будет рвать. Рвота, наркоз отходит, обычное дело. Нужна миска. Или там кастрюля. Или таз. Таза нет. Не подумали. Не приготовились.

Солдат медленно поворачивает голову на железке стола, и его бурно рвёт. Всеми внутренностями. Всей проклятой войной. Всей святой войной.

Я оборачиваюсь в дверях. Сестра вытирает рот

солдату марлевой повязкой. Краска на щеках прожигает ей маску.

— Ой, Николай Петрович... простите... мы не подумали... не подготовились...

Я ухожу. Я не могу говорить. Я онемел. Сил нет.

Я его спас или я его погубил, я не знаю. Ближайшее будущее покажет. Хирургия, это не наука. Это художество. Намалюешь картину жизни или нет: наоборот, уродливо зачернишь.

Когда мои первые неудачные солдаты умирали, я плакал, как мальчишка после драки. Я имею дело со смертью, и я не знаю, что такое смерть. Ужо узнаю, когда ко мне придёт. А может, помолиться? Надо научиться.

А может, я эфира нанюхался.

Если мужик умрёт, пойду, налью в мензурку спирта и тяпну. Может, легче станет.

И выкурю папиросу. У меня ещё остались.

Помаленьку с фронтом освоился. Притерпелся. Бомбежки начинались, я сам командовал: раненых в подвал спустить! Сначала раненых, потом сами прячьтесь! Мы на себе их волокли, тяжёлых. Лежащих — на носилках и простынях, как в белых гамаках. И к этому привык. Человек ко всему привыкает. Дверь на крыльцо открыта. Самолеты пикируют. Слышен вой. Бомбят! Мы пригнулись, тащим раненых, спускаемся в подвал по шербатой лестнице. Зенитки лупят. Самолёты воют. Ужас войны. И к этому я привык. Все мы привыкли. И это страшно.

— Всех спустили?

— Всех, Николай Петрович!

Сидим подле раненых. Слышно, как падают бомбы. Грохот. Голос больного:

— Дальше полетят? Улетели?

Страшно хочу закурить. Нельзя.

— На город полетели.

— Бедные жители.

— А мы не бедные, лазаретные.

Вдруг дикий крик там, высоко, наверху, над лестницей.

— А-а-а-а! А-а-а-а!

Крик мальчишеский, звонкий, взхлёб.

Я поднимаюсь по лестнице. На крыльце стоит мальчонка, весь перепачканный землёй и кровью.

— Ты ранен?

Ощупываю его. Трясёт башкой.

— Никак нет... нет, товарищ доктор! Цел я! Там два грузовика с бойцами разбомбили! Раненых бойцов к вам в лазарет везли! К вам! Кого в лепёшку, кто жив ещё! Спасите их! Спасите!

Опять орёт и ревёт белугой.

Я крепко прижимаю его головёнку к своему животу.

— Эй, хватит вопить. Ты же мужик. Ну! Ты же мужик!

Орать перестаёт. Глядит на меня. Глаза светлые, небесные.

— Мужик...

— Сейчас они улетят. У нас есть машина. Туда скатаем и заберём, кого сможем.

— Ух... спасибо...

— Погоди благодарить. Надо дело сделать.

Я отряжаю на спасение раненых госпитальную машинёшку. Люди выползают из подвала, тянут больных наверх, в палаты. Сам трясусь в машинёшке туда, к месту ужаса. Со мной едет санитар. Прибываем. Трупы и живые валяются на земле вперемешку. Кто стонет, кто кричит, кто молчит, кто умолк навек. Я хожу меж раненых и проверяю, кто жив, а кто нет. Шупаю артерию на шее, за ухом. Мертвецам закрываю глаза. Их надо похоронить. А то глаза вороны выклюют. А тела начнут истлевать и гнить, и зараза потечёт по земле, по весенним ручьям, и достигнет других жизней, и отравит их.

А разве только поэтому их надо похоронить? А может, ещё почему-то надо?

Санитар, шофер и я, мы подхватываем живых и несём в машину. Места мало. На заднее сиденье мы можем уложить двоих, от силы троих. Придётся сделать много рейсов. Народу тут изрядно. Убито почти половина. Человек пятнадцать живых. Пятнадцать жизней, разве это мало? На вой не привыкаешь считать народ поголовно, как скот. Рота, взвод, батальон. Численность! Количество! Госпиталь — та же картина. Я всё время считаю больных. И выбывших из строя, сиречь, мёртвых, в военно-полевой ведомости отмечаю.

Кто-нибудь и меня когда-нибудь в какой-нибудь ведомости отметит.

Дескать, жил-поживал такой-то и из жизни выбыл. Обычное дело на войне.

И в мире обычное.

Всё всегда и везде обычно. Ничего нового нет.

Ни под солнцем, как это говорится, ни под лунной. Ни под ножом, ни под ружьем. Я ловил себя на мысли: неважно, как ты умрёшь. Важно, что это нельзя отодвинуть.

Если я это пишу, значит, я живой. И всё по-настоящему. А чем мир настоящий отличается от мира выдуманного? Да ничем. Кто поручится, что всё, записанное бородатыми летописцами, правда? Что всё в газетах — правда? Что всё в романах, стихах и тому подобных увеселениях — правда? Правды нет. Есть только сия минута. Ты в ней, внутри неё. Проживаешь её. Но даже ты не знаешь, окружает тебя правда или ложь. Ты не хочешь лжи. Ты сопротивляешься! Бьёшься! Ты не веришь в войну: снаряды рвутся не рядом со мной, люди падают в грязь под огнём не здесь, вокруг меня, а во сне! В моём сне! Мне всё снится! Я сплю! Сейчас проснусь!

Глупое желание. Все глупые желания несбыточны. Даже из страшного сна никто не вылезает. Там и остаётся. И сходит с ума.

Бедняге кажется, что с ним всё хорошо. А все видят: сумасшедший. Кто жалеет. Кто лечит, иногда насильно. Кто прогоняет прочь. Кто на что способен. Мне сказали, есть такая порода людей, юродивые, они при монастырях обитают. Богу молятся за нас, грешных. Будто юродивый этот не грешен. Ещё как грешен! Смотря что считать грехом. Я никогда не бывал в церквях, их только издали наблюдал. Так, цапну глазом и дальше побегу. Некогда. Надо в госпиталь успеть, три операции назначено, надо в академию, надо на склад, вату-марлю заказали, с машиной договориться. Надо то, надо сё. Какая церковь, о чём вы, люди. Церковь и без меня проживёт, а вот больные без меня не проживут. Помрут.

Эх, юродивые монастырские, мне бы ваши заботы. Вас там накормят, напоят, ну вы и беситесь от души. Наземь валитесь, кричите-блажите, руками-ногами дёргаете, и, по слухам, что-то там такое пророчите. Ну валяйте, пророчьте. Пророчество, это штука наподобие стихов, так думаю. Тронутый человек сочиняет, выкрикивает, что в башку взбрёт. На ходу подметки рвёт.

Всё. Стоп. Хватит об этих безумцах. Настоящее — это настоящее, и точка. Нет никакого прошлого, мы не знаем его, мы забыли его. Нет никакого будущего, мы не знаем его. Есть только сегодня.

И мы все: здесь и нынче. Всё так просто. Не накручивайте небылиц сами себе. Жизнь дорога. Её надо спасать. И спасаю! Это моя работа.

Я жив. Я чудом остался жив. А внутри смерти побывал. Такая чепуха со мной приключилась. И теперь я, как дурак, всё думаю об этом человеке. Он спас меня. А я его убивал. Чуть не убил. Проклятье! Вспомнить не могу. А вспомнить надо. И записать. Написано пером, не вырубишь топором. Правда, можно сжечь. Запросто! Печь, костёр, таз, бумагу в клочки порвать, зажигалку поднести. Огонь взвзвётся. Вот тебе и вся исповедь твоя. Ни исповеди, ни тебя. Где же здесь бессмертие?

Расскажу о прошлом, да оно так близко, что тебе настоящее, оно было вчера, ещё свеженькое, ещё болит, свежая рыба, только выловили, бьёт хвостом, это моя мысль бьёт мне в череп. Просит выхода. Надо нацарапать эти закорючки. Эй вы, будущие! Если вы будете. Прочитайте, а!

Я покинул госпиталь и вышел на берег неширокой речонки, покурить. А точнее, побыть один. Побывать одному на войне не удаётся. Ты всё время среди людей. Стою, смолю, и тут на меня из-за кустов — прыг! Руки за спину, связали, по земле ногами волокут. Речь вражеская. Гады! Я понимаю: меня схватили, потащили, не шлёпнули, значит, допрашивать будут. Форма на мне офицерская. Я вырываюсь. Мне по голове тяжёлым стукнули, я отключился. Очнулся в полутьме. Керосиновая лампа. Пламя бьётся, краснеет, гаснет, опять разгорается. Глаза привыкли к темноте. Вижу: штаб. На стенах плакаты с чёрными пауками. Лают по-ихнему, аж захлёбываются. Меня под мышки, поставили перед офицером, за столом сидит, морда шире варежки, три подбородка, зуб золотой. Скалится. Гав-гав-гав-гав! Я немного знаю их собачий язык. Перевёл сам себе. Спроси, где, в каком селе спрятаны наши зенитки и где стоят наши части! Это он толмачу бросил. Тщедушный богомол, скрюченный стручок, пролаял по-русски: отвечай, какой деревень сенит орудия и ктэ эст руссише зольдатен! Я усмехнулся. Страха смерти не наблюдал в себе никакого. Ни малейшего. Держи карман шире, толсторылый офицерчик! Буду молчать до последнего. Хоть замучь! Запытай!

И ведь запытали.

Не меня одного: нас вдвоём.

В керосиновом мраке я не рассмотрел сперва, что на топчане, у срубовой стены, лежит человек. И на нем, вот диво, белый халат. В грязюке, понятно, в кровище, понятно, однако, белый врачебный халат, по лицу его зрачками шарю, нет, не из нашего госпиталя, в нашем госпитале, кроме меня, хирурга, ещё один доктор и один фельдшер, мы его за доктора держим. Значит, из другого полевого госпиталя. Поблизости. И мы два пленника. Два, как говорится, языка. Н-да, влипли! Молчим как рыбы. Толмач слюной брызгает. Орёт прямо нам в лица: если вы не! отвечай! ми ви! убивать! Гляжу, и неизвестный доктор тоже настроен помереть, но ничего не сказать. Я тихо и отчётливо говорю ему, вроде как не ему, а так, про себя бормочу: эй, ты откуда, товарищ, хоть на-мекни! Не успел договорить. Меня по губам так кулачиной мазнул толмач, я зуб выплюнул.

Началось. Когда-то должно было начаться.

Живёшь и думаешь: нет, со мной такого никогда не произойдёт. Ан нет, происходит. Ещё как происходит! Человек изначально жесток. Это его природа. Тело, оно так устроено, что испытывает бессознательное наслаждение при виде крови. Поэтому, если в восставшей толпе прольётся кровь, она звереет. Если солдаты расстреляют безвинных людей — люди поднимутся и пойдут убивать. Громить, крушить. А если человека однажды унизили, он жаждет мести. Месть это кровь. Человеку недостаточно унижения в ответ. Он хочет, чтобы обидчик испытал страх. А страх — это кровь. Страх, это смерть.

Вы скажете: да это не тело такое! Это мозг такой! Эту ему охота наслаждаться и мстить! Слушайте, а разве мозг не тело? Не часть тела? Всё это человек: живот, палец, брюхо, пятка, глаз, мозг. Почему мозг мыслит, это уже другой вопрос. Не ко мне. К психиатру. Да лучшие психиатры твердят: мы знаем мозг лишь на пять процентов, остальные девяносто пять процентов в тени.

Началось. Не остановить.

Будейт говорить?! Нет. Выстрел в бедро. Ему, другому. Закричал. Кровь полилась на топчан. Капала на пол. Толстяк пальцем на меня показал. Из тьмы выступил ещё один дь-

явол. Солдатёнок, в гимнастёрке. Поднёс мне к подбородку зажигалку. Пламя прожигало кожу, добиралось до кости. Я скрипел зубами. Я и сам причинял боль, и выносил всяческую боль, если вы думаете, я был сам не резаный, ещё как резаный, вдоль и поперёк, всяко. И гнойный аппендицит, с перитонитом, и сломанная в гололёд рука, хорошо, что левая, лучезапястный сустав, четыре месяца в гипсе, так и оперировал в лангетке. И перелом двух рёбер, в подворотне избили, но я им тоже хорошо наkostenял. Ноги мои не были связаны, я взял да пнул от всей души толмача. Он свалился. Толсторылый крикнул отрывисто. Меня повалили на пол, разодрали гимнастёрку на груди. Сапогами на запястья наступили. На ноги мне сел солдатёнок. Придавили. Толстяк выбрался из-за стола, поигрывал финским ножом. Я понял, что меня ждёт. Ну, хирург, сказал я себе, не бойся операции.

Поймал себя на том, что всё равно забоялся.

Резали долго. Со вкусом. И так, и эдак. Вырезали на груди фигуры. Знаки, я в зеркало рассмотрел потом раны. Вражеский паук. Наша звезда. Лезвие втыкали глубоко, смачно. Кровь текла медленно, обильно. Я чувствовал её тепло. Временами я даже не чувствовал боли. Я думал: только бы не ткнули нож вглубь, за грудину, и не добрались до артерии. Я боялся потерять сознание. Быть без сознания, ведь это почти умереть. Живи, заклинал я себя, только живи. Держись!

И я держался.

В борьбе с болью я забыл, что рядом, на топчане, лежит неведомый врач, и нога у него прострелена. Я скосил глаза и увидел: он пристально глядит на меня, и глаза его полны влажного ужаса. Лицо всё бородой заросшее. Я-то брился каждое утро. А может, у него бритвы с собой на войне не было.

Меня ударили сапогом под рёбра. Толстяк орал на своём пёсьем языке. Толмач выкрикнул: хотеть шить?! убить он!

И показал пальцем на лежащего на топчане.

Пинками меня подняли с пола. Я не мог стоять. Мне вопили: стоя-а-а-ать! Я широко раздвинул ноги и так качался. Мне в руки всунули винтовку. Толмач заорал: штреля-а-а-айт! И снова указал на чужого военврача. Я соображал мгновенно. Расстояние близкое. Выстрелю, и пуля разнесёт ему

всю грудную клетку. Или всю брюшину. Или пройдёт навывлет через лёгкие. Если стрелять в голову, мозг разлетится и заляпает все стены. В голову, наверняка умрёт. В любую часть тела — кто его знает, может, и выживет. Чтобы при тяжёлом ранении выжить, надо оказать раненому немедленную медицинскую помощь.

Врач смотрел на меня круглыми, совиными глазами. Я тщетно искал в них страх. Это я боялся, пока стоял и решал, стрелять-не стрелять, а у него страха не было. Солдатёнок по знаку толстяка накинуд мне на шею веревку и стал душить. Лицо налилось кровью, я задыхался. Я видел, как люди умирают от удушья. Много раз видел. Это страшно. И повешенных видел. И кого я только не видел. Жизнь показывала мне страшные рожи страдания. Когда меня задушат, у меня будет синее лицо, а язык вывалится.

Главное, мы ничего не говорили сволочам. Ничего не сказали.

— Штреля-а-а-айт!

Я выстрелил.

Прощу ли я себе когда-нибудь это несостоявшееся убийство? Ведь я убивал человека. Своего человека. Родного. Жителя моей Родины. Человека моего народа. Более того, врача, как и я. Значит, собрата. Брата. Пусть я имени его не знал. Но я поднял винтовку и выстрелил в него. Почему? Испугался врага? Забоялся собственной смерти? Я понимал, что меня всё равно не пощадят: выстрелю я в пленника или не выстрелю, разницы нет, я враг, и меня надлежит убить, часом раньше, часом позже. Зачем я выстрелил? Что мною двигало? Думал ли я тогда о чём? Или выстрелил без чувства, без мысли? Обречённо? Машинально? Исполняя вражеский приказ?

А может, я его, брата моего, от ужаса, от мук одним выстрелом хотел спасти?

Человек — винтик в механизме. Его завили. А механизм расшатался. Разладился. Винтик ослаб и выпал из резьбы. На его месте дырка. Из неё течёт кровь. Течёт, течёт. Не остановить.

Когда я стрелял, я зажмурился. Открыл глаза. Военврач сполз с топчана на пол. Он лежал под моими ногами, халат задрался, я видел латанные на коленях портки. Текла кровь, уже останавливалась, пятно расплывалось по штанам, по халату, из простреленной не мною ноги. Врач поднял

руки и зажал ладонями уши. Он оглох. Пух летал по штабу. Я выстрелил и попал в подушку, а целился в голову, чтобы убить наверняка. До сих пор не знаю, рассчитал я это, совершил бессознательно или просто рука дрогнула от неведомого, дикого страха.

Страх пришёл, он пришёл поздно, навалился на меня, загрыз меня.

Страх и стыд.

Я похвалил себя: правильно сделал, что выстрелил в подушку.

Нас потащили по полу из штаба вон, в сарай.

Дух гнилой соломы. Кровь льётся из порезов, медленно сворачивается, подсыхает. Свёртываемость у меня была всегда на высоте. Рабочие тромбоциты.

Мы сбежали. Уползли из сарая. Посреди ночи. Выломали ветхую доску. Под неё подлезли. Ползли. Не знали, куда. Потом чуть окрепли, поднялись на четвереньки, встали на ноги. Ковыляли, опираясь друг на друга.

Друг. На друга.

Слух к врачу возвращался. Враги за нами погоню не отрядили. Скорей всего, они побежали в другую сторону, а множества людей, чтобы тщательно прочесать окрестности, не было в их распоряжении. Мы добрались до чахлого леска. Тонкие кривые берёзы молили тусклое небо о помощи. В лесу мы чуть не утонули в болоте. Еле выбрались, оба в тине по уши. Бородатый врач, казалось, забыл, что я в него стрелял. А может, и правда забыл. Нечем было развести костер и согреться. Нечего было есть. Живот подвело. Тошнило от голода. Ещё не хватало голодной рвоты жёлчью. Мы ещё не звали друг друга по именам.

Пока мы пересекали леса и холмы, поля и овраги, мы сдружились. Мы оба слушали, в какой стороне стреляют. Наши госпитали находились близ линии фронта. Нам надо было вернуться. И мы старались вернуться. Без компаса, вусмерть голодные, изгвазданные в болотной грязи. Мы дошли до реки, и мы узнали берег. Хорошего круга мы дали. Да всё-таки выбрались, куда надо.

Бородатый врач сказал: Бог помог. Я засмеялся. Сказал: не бог, а судьба. Он мне, серьёзно так: судьба это Бог. Я ему, насмешливо: да что ты говоришь? Мы оба перешли друг с дру-

гом на «ты». На берегу речонки нашли останки рыбацкого костра — хворост, головни, угли, пепел, серый круг на холодной земле. Я отыскал сухих веток, два камня, бил-бил о камень, высек искру. Ветки чудом запылали. Шёл низовой лёгкий ветер. Он пах весной. Костерок с трудом разгорелся. Мы сидели у костра, расслабляться было некогда, согрелись и опять подтащили веток и щепок. Огонь хотел жрать, и мы тоже. Я зашёл в сапогах в воду. Около берега стояла сонная рыба. Я поймал её руками, вернулся к костру, смеясь. С рыбы капала яркая вода. Выходило солнце. Мы испекли рыбу в золе костра, на углях, и ели, глядя друг на друга, будто молились вместе.

Чёрт, я никогда не молился. Даже перед сложнейшей операцией. А вот он, видать, молился. Ну, по всему видно, верующий. Да ведь бога-то никакого нет! Это даже дети знают в нашей стране!

Рыбу съели, побрели по берегу. Мы теперь знали, куда идти. Впереди поднимался в небо дым. Это топили печь в моём госпитале. А твой где, спросил я врача. Мы в палатках и двух бараках, там, он махнул рукой, вверх по течению.

Поравнялись с госпиталем. Осыпалась северная стена. Бомбили. Гадёныши, бомбят раненых и врачей. По всем конвенциям такого делать нельзя. А вот делают. Наглецы. Война, разве у неё есть совесть? Совесть, она для мирных времён. Я обернулся к моему другу и протянул ему руку. Я, его убийца. И он пожал мою руку. Крепко.

Так стояли. Не могли разомкнуть рук, они будто слиплись.

- Ну, прощай.
- Прощай.
- Ты пока тут?
- Тут. Может, перебазируют, не знаю.
- Господь помоги тебе.

Я усмехнулся. Что надо ответить? «И тебе»? Но это будет враньё.

— И тебе.

Теперь улыбнулся он. Сквозь страшную бороду. Леший.

— Как я тебя найду? Хоть фамилию скажи.

Я сказал.

Потом спросил:

— А твоя?

Он назвал себя. И номер госпиталя.

Я всё запомнил.

Он тоже все запомнил.

На войне память обостряется. И записной книжки никакой не надо. Всё в голове.

Я не знал, что его из военного лазарета направили в столицу, там он принял сан и стал священником, а потом его арестовали.

АЛЕКСЕЙ

Сёстры. Мои сёстры.

Ну да, я так и называл их — сёстры мои; конечно, они были чьи-то чужие сёстры, и дочери, и матери, а мне они были, мне, военному хирургу, сёстры милосердия.

Милосердие! Самое драгоценное, что есть на земле у человека к человеку. Человек человеку передаёт тепло. Тепло источает свет нежности, нежность тихо мерцает любовью. Так замыкается круг. Это как годовой круг, Божий круг, коловрат. Время идёт по кругу, и вдруг распаивается огромными воротами.

Сёстры. Сёстры мои.

Сёстры милосердия.

В лазарете у меня, под боком моим, рядом с операционным столом моим; на поле боя, когда нельзя в рост идти, только ползти; в белых халатах, и вот они уже в грязи и крови; и красный крест на рукаве. Красный Крест. Родные, вы ведёте войну со смертью не в бою, не под грохот снарядов — здесь, за врачебным столом. Скальпель! Иглу! Кетгут! Веди бой за жизнь. За эту жизнь. Именно за эту. Ты не знаешь, кто умер вчера, кто умрёт завтра. Здесь. Сегодня. Сейчас. Эту жизнь — спаси.

Война, она только началась. Недавно. Вчера. Или века назад? Поток раненых шёл стеной. Река орущих, плачущих от боли людей. Русло неостановимой крови. А нам её надо останавливать. Марлю! Жгут! Бойцы умирали у нас на руках. Сараюшка на окраине села — наш лазарет. Палатки в поле. Бараки на краю оврага. Какая там больница! Какой госпиталь! На войне как на войне. А как оно — на войне? А вот гляди. Таблетки! Закончились, товарищ военврач. Инъекцию кордиамина! Закончился. Тогда адреналин! Есть ещё. Есть.

Господи, доктор, болит... как же болит... сил нету, больно как...

Усни, солдат. Усни.

Уснул. А утром — не проснулся.

А мы, сестра, к столу. Стой! Не падай! Валидол под язык. И, знаешь, у меня для тебя, сестра, есть подарок. В кармане халата завалялся. Не побрезгуй. На. Держи. Кусочек сахара. Ой, доктор... вам самому — нужно...

Отступаем! Сворачиваем лазарет! Зачем отступаем? А ты что, хочешь, чтобы нас всех тут перебили, как цыплят?! Враг наступает. Мы отступаем. Ничего! Когда-нибудь будем наступать! Это война. Доктор, а как же недвижимые раненые! Бросать. Бросать, сестра! Я не могу, доктор! Они так смотрят! Они кричат!

Доктор! Доктор! Сестра! Сестриченька! Не бросайте нас! Не бросайте! Зачем вы уходите! Как мы без вас! Нас же убьют!

Товарищ военврач! Я с ними остаюсь!

Господи, убьют и тебя. Собирайся! Уходим! Это приказ!

Нарушение приказа — трибунал!

Не уйду! Расстреляйте меня! Без всякого трибунала! Вот он, он так глядит! Душу вынимает!

Одна моя сестра вынесла из боя десять раненых. Втаскивала раненого на расстеленную на земле плащ-палатку и тащила по грязи. Ползла по земле и тянула. Ползла и тащила. Господи, приставь сестру мою к медали! Ты же можешь. Ты же сможешь.

Что у тебя в санитарной сумке, сестра моя? Йод. Вата. Бинт. Марля. Спички. Вода. Больше ничего.

Если повезёт, и командир сунет исподтишка, вбок равнодушно глядя, фляга со спиртом.

Нам, хирургам, спирт давали под расписку. Впрочем, как и всё остальное.

А бинтов и марли не хватало. Сёстры на бинты рвали всё, что под руку подвернётся. С мертвецов бельё стаскивали и им раненых перевязывали. А бывало, сами раздевались и с себя бельё снимали. И рубашонками своими рану обматывали. Ещё тёплыми рубашонками... тепло девичьего тела хранящими...

Сёстры мои! Сестрички! Бомбили, стреляли, взрывали нас, и вы погибали. Родимые сёстры мои! Я вам сам глаза закрывал. Шептал над вами: Господи, будь Ты им проводником в Миръ Иной.

А как там, в Мире Ином? Так же, как у нас, или лучше? Райский там Сад или война грохочет, как и здесь, и рушатся дома, и вопят перед смертью люди? Да нет, не люди, конечно... их души... а души, говорят, бессмертны... ну от боли, от боли-то они ведь могут кричать...

Милые, девушки мои, девочки ангельские, светлые! Вот ты, да, ты. Ангел в окровавленном халате! Сегодня придёт санитарный поезд. Нам надо доставить раненых к железнодорожному полотну. На чём? Машину разбомбили. В конюшне, близ околицы, стоит лошадь, впряжённая в телегу; позаботились, для нас запрягли; а сколько раненых мы можем уложить в телегу? Раненые, ведь это не дрова. Десять человек? А сорок здесь останутся? Два, три, четыре раза съездим, сколько понадобится. Пока едем, на лошадушке трюх-трюх по дороженьке просёлочной, нас лётчик увидит, вон он летает, бомбу сбросит! А река рядом, жаль, мелкая, мутная, не судоходная. А то на катере солдат бы увезли. Плыви, плыви, кораблик, кораблик золотой. Вези, вези подарки... подарки нам с тобой...

А тут близко от нас расквартировался в избах казачий полк. Казаки, в папахах, и с саблями! Сестрички смеются и плачут: какие сабли, тут танки тебя в кровавый блин раскатают, какие папахи, без каски не обойтись. Сами-то девчонки в касках. Иногда из касок едят. Повар на кухне суп в каски половником из котла наливает.

Сёстры мои, всё в руках горит, кипит, перевязки как заводской конвейер, мне некогда рану зашивать, к другому солдату и другой ране перебегаю, от одного края стола до другого, а сестра, гляжу, уже шьёт. Шьёт! Рану! Сама! Кетгутом! Да как умело затягивает! Сестра! Раненому слева, у окна, обезболивающее, укол! Есть, товарищ военврач!

Колет умело. В вену попадает с ходу. Да все попадают. Наловчились.

Милые, шприц — ваше оружие. Бессонная ночь с криками боли — ваш бой.

Уходят солдаты в ночь. В разведку. Медики-менты вчера привезли, отлично, а то вместо анальгина — щепку в рот, и грызи, друг, чтобы от боли не орать.

Раненые. Убитые. Здоровых нет. И сёстры, сёстры мои.

И страшно, страшно и больно, страшно и му-

жественно, страшно и молитвенно. Страшно, а жить надо. И — живём. Под пулями. Под бомбёжкой. Под огнём. Милосердие! Как без тебя жить! Тобой живём. Все раненые — родные. Им все медсёстры — родня. Сестричка, наклонись, дай тебя поцелую! И наклонялись сёстры мои. И целовали их раненые. Умиравшие — целовали. Как в церкви: в щёки, в лоб, со слезами. Как в Пасху. Предсмертная Пасха. Господи, и Ты видишь это.

Врага одна сестра моя на плащ-палатке в лазарет приволокла. Наклонилась, разрешила скальпелем ему портки, хотела рану обработать и перевязать, а тут солдат с койки завопил: сестричка, эй, берегись, убьёт! Сестра вскинулась, а вражина рукою с ножом уже взмахнул над ней. А тот солдатик, с ближней койки, уже вытащил из-под одеяла пистолет и пулю в гада всадил. Сестру спас. Сестричка села на пол, ноги подкосились, и плачет. Рядом с убитым врагом. А солдатик ей: не плачь, сестрёнка, мы ещё повоюем!

Всем по сто грамм спирта выдавали. Сестры мои сливали втихаря свои сто грамм во фляги, чтобы потом давать раненым бойцам. Флягу с собой брали, когда ползли на поле боя, раненых спасать. Вливали им в рот глоток спирта. И мёртвые — оживали. Глядишь, сестра обратно ползёт, на плащ-палатке за собою раненого тянет. Живой! Дышит! Губы спиртом пахнут. Не всех удавалось спасти. Часто бойца к лазарету сестра притянет, а он уже похолодел.

Справа танки, а слева конница. В село, близ него и стоял наш лазарет, прибыла конная армия, и кавалеристов разместили по избам на ночлег. Сёстры, вы своё бельё на перевязку раненым порвали; и я велел облачить вас в мужские рубахи и кальсоны. Вы живенько переоделись и юркнули в койки. Спали или делали вид, что спите? Ржанье лошадей у входа я услышал. Входит генерал, за ним весёлый ординарец. Генерал глядит, как мои сёстры спят. Тихо-мирно. В койках на детей малых похожи. Генерал тихо говорит: зачем детишек на войну побрали? Я так же тихо отвечаю: это мои сёстры, товарищ генерал. А, сёстры, наклонил генерал голову. Понял. Всё понял. Вопросов больше не имею. Вольно, товарищ военврач.

А раненых сёстры на себе волокли частенько вместе с их оружием. Сестра, родная, вот ты, ты, да. Помнишь последнего твоего раненого? Помнишь? Ты подползла к нему, вокруг разрывы гре-

мят, а он лежит навзничь, и рука перебитая. А у тебя из сумки ножницы выпали, и нож потерялся. Снаряды рвутся. Ни ножа, ни ножниц, только твои зубы. И стала ты грызть бойцу мышцу и кожу. Мягкие ткани. Мясо, кровь. Выплёвывала на землю, плакала, уливалась слезами, опять наклонялась к кровавому полю боли и грызла, грызла, резала жизнь острями зубов. И перегрызла. И затампонировала бельём. И забинтовала. И бинта не хватило, стащила с себя гимнастёрку, в лоскуты порвала, оторвала рукава. Руки сильные стали, как у борца. Ты помнишь, что он тебе шептал, солдат, безрукий, в бреду? Давай скорее, сестричка, сестра... мне скоро снова в бой... скоро... сейчас... воевать буду... в атаку пойду... убью врага...

Сёстры. Сёстры мои.

Сёстры милосердия.

Меня в столицу перенаправляют. Там, в столичном лазарете, говорят, я нужнее, чем здесь. Кто-то внимательный хочет в столице мой опыт операций и лечения ран перенять. Пусть перенимает. Я с радостью опытом поделюсь. А я, сёстры мои, ещё ведь тайком книгу пишу. О том, как правильно делать операции на различных внутренних органах и наружных человеческих членах. Такая книга военному врачу поможет. Она и мне самому поможет; пока пишешь, главное понимаешь про жизнь. Не говоря уже о том, что и про смерть. Смерть, что она? Она непонятна. То ли будет, то ли нет. А может, со мной не будет. А на войне она случается едва ли не со всеми. Сёстры, вы знаете, сколько нас всех в живых останется после войны? Не знаете? Вот и я не знаю. Но предполагаю. Немного останется нас. И это не грустно. Это неизбежно. Это судьба. А о судьбе не печалятся. Судьба, она предписана. Не мы её сочиняли, писали, резали, бинтовали. Всё это сделал Бог.

Бог и только Бог.

Неверующие сёстры мои, среди вас таких ведь большинство, можете смеяться надо мной, можете веселиться между боями и криками. Только Бог владеет нами. Только у Него мы все в руках.

Я видел вокруг мою столицу. Город был не похож на себя. Столица, раньше царица, теперь побирушка. Над крышами висели белые огурцы дирижаблей, по улицам медленно шли прохожие с тёмными, как на закопчённых

иконах, голодными лицами. Иногда маршировали странные колонны: то седых морщинистых людей в серых мышиных одеждах, а то и обносках с чужого плеча, то детей, и подошвы детских башмаков и ботинок громко, сухо стучали по асфальту, по брусчатке.

Я, прогрызая телом-червём грязные улицы, появился в нашу с братом каморку. Ключ мы оставляли всегда в почтовом ящике. Там я его и нашел. Пустота и скорбь дохнули на меня изо всех щелей. На столе лежала записка: БРАТ, ЕСЛИ ТЫ ЖИВ И ВЕРНЁШЬСЯ, МОЛИСЬ ЗА МЕНЯ, Я УШЁЛ НА ФРОНТ. Я опустил на колени перед столом, перед запиской, перед жемчужно светящимся во тьме вечерним окном, и помолился. Молитв я не знал: своими словами.

Рядом с нашим домом уютилась маленькая церковка. Стены выкрашены жёлтой, цыплячьей краской, куполок тусклый, обшарпанный, давно не чищенный. Я зашёл. Служба кончилась. Ещё звенел последними словами проповеди пахучий, туманный воздух. Священник шагнул от аналоя ко мне, безмолвно стоящему.

— Господь благослови. Опоздал на службу, сын мой?

Я смутился.

— Нет.

— На исповедь? Исповедаться завтра, прежде Литургии, в восемь утра. Вечером Всенощное бдение.

— Нет. Да. Я исповедуюсь. Обязательно. Я бы хотел стать священником.

Батюшка не удивился. Стоял бестрепетно, ясно глядел на меня. Длинная его борода висела седыми кольцами на широкой, мощной, как у кузнеца, груди.

— И как ты видишь твой путь, сын мой? С чего начнёшь?

— Вы — меня — спрашиваете... Я вас хочу спросить. Я не знаю.

Назавтра я явился на исповедь. Я каялся во всём, и даже в грехах, что не совершал. Священник терпеливо слушал. Я говорил долго. Он положил синюю, расшитую серебром епитрахиль мне на затылок, я перестал видеть Мирь, я ослеп от счастья, от радости, что мне удалось всё несказуемое сказать. Священник бормотал надо мной молитвы, и я не особенно вслушивался в слова. Я впивал их всем собою, будто я был хлеб, и это ме-

ня, меня обмакнули в сладкое вино. Потом я встал, неиспытанное чувство Вселенской чистоты разлилось по телу, по сердцу, по всей церковке, по всему окоёму за её старыми дряхлыми стенами. Я был одно с Миромъ. А Миръ воссоединился со мной. Как бы сохранить это чувство, думал я потрясённо, не уронить, не растерять.

Разрешительная молитва закончилась. Я встал в очередь причастников, запели «Иже Херувимы». Я потянулся вместе со всеми к огромному золотому потиру в морщинистых, больших, корягами, рыбацких руках батюшки. Дошла и до меня очередь, я слизнул с позолоченной ложки кусок хлеба с кагором. Кус неведомой жизни. Теперь смерть не придёт, туманно и радостно подумал я.

Это потом я узнал: Тело Христово, Кровь Христова. Тогда же я просто тихо стал в сторонке, утёр рот ладонью, не мог говорить. Не мог даже радоваться. Захлестнула волна неиспытанного счастья. Я боялся его нарушить любым жестом, разбить хрусталём. Это как в любви. Внутри меня пело. Кто это пел? Я сам? Бог? Душа?

Душенька...

Через время, исчислить кое не представляется сейчас возможным, я, дитя моё, и правда стал священником. Шла война, не прекращалась, а лишь разгоралась, враг наступал, и я ждал, когда меня снова пошлют на войну, и я ходил в мой лазарет, и я оперировал раненых, и поутру и вечером я служил во храме, и я читал богословские книги, и, главное дело, я читал Евангелие, Псалтырь, Четвы-Минеи, Часослов, Цветную и Постную Триодь, и, конечно же, Ветхий Завет. Про войну в Ветхом Завете много чего сказано. Не вредно теперь, когда война идёт, гремит и ярится, эти слова перечитать.

За нашими спинами столько драгоценностей в сундуках. Столько мудрости! А мы живём одним днем. Есть в одном дне наслаждение, но есть и опасность забвения того, что было и что надобно помнить. Человек беспамятный — это машина, шуруп. Всяк может его вывинтить и ввинтить, куда заблагорассудится.

Утром служба. Днём лазарет. Вечером служба. Ночью чтение Священного Писания и пение псалмов. Я, не смейся, деточка, я пел Псалтырь на свой лад: голоса у меня не было отродясь, слуха тоже, музыке меня не учили, какая музыка в

деревне, а петь хотелось, в моей церкви прихожане пели, ничего не боясь, кто во что горазд, хором, и Символ веры, и Отче наш, и Богородице Дево, и я взял с них пример, хоть дома, в четырёх стенах, а спою, что моя душа желает, слышит в ночи.

Душенька...

Режим жизни моей нарушен был.

Меня вызвали на допрос в строгое здание, где сидели особые люди; мне сообщили шёпотом: они занимались устранением преступности и защитой граждан.

Меня допросили коротко и отрывисто. Я едва успевал отвечать. Вспомнил того, вражеского толстомордого офицера, что заставил моего собрата выстрелить в меня. Я спрашивал себя тогда: а если бы мне приказали, выстрелил бы я? И сам себе отвечал: нет. И сам над собой смеялся: а откуда ты сейчас-то знаешь?

Родной офицер взлаивал, я послушно на родном языке отвечал. Всё слава Богу. Я на Родине. Ошибочка вышла. Сейчас всё прояснится. Меня отпустят.

Допросный лай прекратился. Мне велели идти домой и вернуться в управление через месяц. Я хотел спросить: а что будет через месяц? И не спросил. Спросил только: а что, мне жить, как и прежде жил? Служить во храме можно? Разрешаем, сказали. Сквозь зубы процедили. Я поблагодарил за всё, поклонился и вышел из кабинета.

Изнутри поднималась тревога. В лазарете я низко склонялся над моими больными, накинутый на плечи халат распахивался, и под расстёгнутыми полами больные видели мою рясу и крест на груди. Их глаза округлялись. Кто-то присвистывал. Кто-то складывал молитвенно руки: благословите, батюшка. Я благословлял. Благословляя, я мыслил про себя: недостойн! И я учился избавляться не только от греховных поступков, но и от греховных мыслей. Моё всежизненное деяние, спасение людей посредством хирургических операций, моё дело хирурга, повседневное и немыслимо трудное, продолжалось, я понимал: никуда я от него не денусь, ни на войне, ни в Мире. Больной на койке закрывал глаза, я осенял его крестным знаменем, шептал над ним очистительную молитву. Люди исповедались мне на лазаретных койках, чуя близкий уход, перед самою смертью.

И я успевал принять у них исповедь. Успевал отпустить им грехи. Они навек засыпали с улыбкой.

Месяц промчался, угас, как вспышка салюта в густом вареве ночного неба. Я пришёл в грозное управление. Меня встретили другие люди. Повели в другой кабинет. Там мне даже сесть не предложили. Я стоял в белом халате, моя ряса, видная из-под халата, мела пыльный пол. Сухопарый человек, вскинув глаза от вороха бумаг, отрывисто спросил меня: вы правда служили вместе с опальным Патриархом в храме Всех Святых на Кулишках десять дней назад? Правда, наклонил я голову. А вы знаете о том, что ваш Патриарх условно осуждён? Нет, ответил я тихо. А вы знаете о том, что тот, кто совершает совместно с ним храмовые обряды, заведомо подлежит осуждению? Нет, повторил я ещё тише. Не знаете? Нет. Вы арестованы.

Да, я успел сослужить Патриарху в крошечном храме на окраине столицы, и я не знал, что он отбывает условный срок, и я не знал, в чём его вина. Да нет, все знали, в чём наша вина. Все. До единого. И я знал. В нежном храме, похожем на тот, что держит на ладони Николай Мирликийский на весёлой яркой иконе, Патриарх возвещал и пел, гудел и пел, плакал и пел, и я вместе с ним. Он был уже очень старенький, и синие глаза его светились солнечным зенитом, добрые-добрые, всепрощающие, сразу отпускающие все грехи-прегрешения, вольные и невольные.

Я в жизни Церкви плавал рыбою в воде, будто священником стал с детских лет. Сам на себя дивился: и как это я! Однажды на службе закрыл глаза и увидел: толпы народу, далеко внизу. Головы, головы. Людское море, и накатывает вал, и шевелится. Громадная волна людей катилась вдаль. Я туда посмотрел. Там, над землёй, высоко, стояли облака взрывов, величиною с гору. Я поглядел вокруг. Всюду воздымались ужасные густые облака, похожие на гигантские зонты. Полыхал огонь. Море людей плескалось и билось в необъятном круге огня. Криков я не слышал. Уши залепила спасительная глухота. Внезапно глухота исчезла. Я стал слышать Мирь опять. Вопли потрясли меня. Я никогда такого не слышал на войне, хоть на войне люди кричат будь здоров. Оглядывал сверху клокочущую толпу. Она всё катилась. Люди бились о стены домов и сползали на землю, цепляясь ногтями за голый камень. Я ле-

тел над ними, Ангел бесплотный. Ангел мыслящий. Мыслил так: неужели этим, вот этим закончится весь человек? Его пребывание на земле? Но, если я это вижу, значит, так оно и будет? Или не надо верить себе? И видения могут бесы насыловать, не Господь?

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его...

Я шёпотом читал эту молитву, когда меня в тесном душном авто везли в тюрьму.

Сначала карантин, я претерпел его безмолвно. Кормили плохо. Свиной, коров кормят лучше. Потом отвели в камеру, битком набитую ворами и бандитами. Я приготовился к тому, что ночью меня зарежут. Воры расспросили меня, кто я и что я. Я ничего не утаил. Воры меня зауважали. Пальцем не тронули. Если кто бросал мне грубое слово — того товарищи брали за шкуру, встряхивали и угрожающе бормотали: если ты ещё раз... Ночью иные пытались ко мне подойти под благословение. Я, сидя на нарах в ночи, благословлял людей. Всякий разбойник человек. На Голгофе стояло вкопанных в каменистую почву три креста. Висел Христос, леворучь Его корчился один разбойник, праворучь другой. Гестас и Димас. Кровью обливались: им солдаты тоже проткнули копьями животы. Один зло скрежетал зубами, вся и всех проклинал. Другой раскаялся. Может быть, плакал. Солнце заходило. Я воображал себя одним из разбойников. Кто бы я был? Димас, иначе Рах, кто повинулся и был прощён? Злодей Гестас? Я не знал. Я видел. Я был Димас, и я был счастлив, и я слышал, как распятый избитый человек, с красной тряпкой на бёдрах, в колючем венке, тихо, хрипло, медленно мне говорит, с трудом повернув окровавленное лицо: нынче же будешь со Мною в Раю.

Рай! Райский Сад. Я туда постоянно хотел. Райский Сад, это была моя мечта, моё детское упование. Я любил его как дитя, и мечтал о нём, как дитя, и по нём тосковал. Моя Родина не была Райским Садам. Она воевала. Люди воюют за самое святое. Воюя, они защищают своё святое, чтобы оно жило, не умерло. Каждый воюет на своём месте за свою святость. Из множества святостей слагается великая Святая Земля. Она в любом месте. Не обязательно в Иерусалиме и Вифлееме. На обрыве над ре-

кой стоит храм; под ним святая трава, святая земля, святая река. Это так просто понять. И полюбить.

Настал день, мне выкрикнули в открытую с лязгом железную дверь камеры: на выход! Я вышел без вещей. Меня повели в тюремный лазарет. Люди болеют везде, и в тюрьме тоже. Ещё сильнее, чем в миру, болеют, мучаются. Медицинская помощь плохая. Воды подать, грелку к ногам, если жар, таблетку, если сердце болит, так страдай. Лежи спокойно, всё пройдет, пройдет и это. Мои бандиты и жулики тут тоже валялись. Небритые и страшные, как Гестас на кресте. Я ласково проводил ладонью по их щекам. Такое чувство, что ты гладишь еловую ветку. Одного замучила стенокардия, я понял. Не было в помощи мне ни пилюль, ни капель. Я перекрестил его и тихо сказал: молись, чтобы смиренным войти в Царствие Небесное. Ночью он умер от сердечного приступа. Я закрыл ему глаза и прочитал над ним отходную молитву.

На прогулку нас выгоняли, как скот, во мрачный тесный двор. Мы ходили там и вразброд, и по кругу, кое-кто прыгал, засидевшись и залежавшись.

К заключенным на свидание приходили родные и друзья. Ко мне никто не приходил. Брат воевал. О моей семье я не знал ничего. Где они, уехали в другой город, живы ли, погибли, может. Я молился за них и иногда плакал, их вспоминая. Память, доченька, нехорошая штука. Она тревожит, истязает, а взамен не дает ничего, кроме горечи под языком. Вместо обеда полынь, и вместо ужина полынь. Я понимал Сократа, когда он залпом выпил казнящую чашу цикуты. Уж лучше расстаться с горькой, солёной жизнью, чем бесконечно восседать на кровавом пиршестве её.

Книг никаких не водилось в камере. Никто из разбойников с собою книги не носил, не возил. Я стал наизусть читать бандитам Новый Завет. Что помнил. А помнил, может, и не всё, как надо. Кое-что наверняка присочинял. Так я читал им моё собственное Евангелие от Алексея; ну, да Бог простит. Канву-то я соблюдал. И читал, читал, и говорил, говорил. И они слушали, слушали. А один однажды спросил:

— Это вот что ты тут нам такое плетёшь языком? Правда это, или всё обман?

— Всё правда, — я сказал.

— Ух ты! Правда! А ты откуда взял, правда или нет? Гляди, наплёл!

— Это не я наплёл. Это записали жизнь Господа нашего Евангелисты. Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

— А они откуда про Него знали? Гляди, сказочники! Да я тебе таких сказок воз и маленькую тележку накидаю!

— Это не сказки. Это правда.

— Да кто ж знает-то доподлинно, правда или ложь? Какая, к чертям, правда!

— Правда. Господь Сам есть высшая и последняя правда.

— Эка! Да что ты! Бреешь как по-писаному! А докажи! Сделай чудо!

Тут все в камере загалдели, заурчали, закричали:

— Да, да, чудо... Чудо!.. Сделай чудо! Чудо-то сотвори! А? Что? Слабо?! А возьми нас на слабо! Чуда! Чуда хотим! Чуда! Чуда!

И вот уже все они страшно вопили, безобразно разевая рты, надрываясь, хрипя, то ли глумясь, то ли молясь:

— Чуда! Чуда! Чуда!

Я встал посреди камеры. В обтёрханных штанах, в изорванной рясе, босыми ногами на голом полу.

— Чуда хотите? Будет вам чудо.

Тут произошло неожиданное. Бандит, у них слыл жожаком, схватил распоследнего бандитёнка, шестёрку, вытащил из-за сапога умело припрятанную от охраны заточку и всадил остриё шестёрке в грудь. Шестёрка упал, кровью заливаясь. Все расступились.

Тщедушный человечек крючился на полу, орошая кровью холодные камни.

— Ну что застыл! Валяй! Оживи!

— В бога-душу-мать!

Бандиты сыпали словами, выкрикивали: чудо!.. чудо!.. — потом утихли. Молчание упало пеленой тумана. Скрыло лица людей. Я не видел никого. Белый туман колыхался, плыл. Я медленно подходил к резанному. Видел: он ещё дышит. Опустился перед ним на колени. Ощупал рану. К сожалению, убийца попал в крупный сосуд. Если не наложить зажимы, несчастный изойдёт кровью.

Я резко встал.

— Хотите чудо? Будет вам чудо.

Я шагнул к стальной двери и заколотил в неё кулаком:

— Эй! Надзиратель! Срочно в лазарет! Меня и больного! У нас колотая рана!

Ключ в замке затарахтел немедленно. Ворвались надзиратели, подхватили раненого, побежали с ним по длинному, конца-краю нет, коридору, я широко пошагал за ними, и ряса моя чёрным знаменем развевалась.

В лазарете раненого взгромоздили на учительский, обитый чёрной свиной кожей стол — тут хирургических столов не водилось. Я попросил инструменты. Инструментов тоже не было.

— Это тебе не больница! У нас тут тюрьма!

— Принесите ножницы, кухонный нож, сапожную иглу, толстую... суровые нитки. Нож остро наточите. На огне обожгите. Иглу и ножницы тоже обожгите. Это дезинфекция. Спирт есть? Нет? Йод? Тащите йод. Вместо спирта водки бутылку. Водка у вас должна быть. Вату, бинт. Бинта если нет, рвите простынь на полоски.

Принесли всё требуемое, и даже водку. И бинт, и марлю, и простынку аккуратно на длинные ленты порвали.

Я оперировал. Руки сами летали. Под моими руками кричал, стонал и корчился разбойник Гестас. Он не раскаялся, но сейчас, я чувствовал это, раскается, вот-вот. Гестас, бормотал я ему, Гестас, ну что ты дёргаешься, понимаю, ты без анестезии, это очень больно, знаю, ну давай, вот глотни водки немного, чуток, в голову кровь бросится, жарко станет, хоть немного боль отойдёт, отступит, давай, валяй, глотни. Я подносил разбойнику к устам чашу, а точнее, битую фаянсовую чашку, забытую на столе, из неё, из Чаши Грааля, следовательно пили чай, а может, ту же водку, а может, макали туда пальцы, уставая перелистывать бумаги. Я раздвигал волокна мышц, я распахивал рану шире, всё шире, тщательно обрабатывал, чтобы не случилось загноения, заточка-то грязная, неровён час, сепсис расцветет, и тогда пиши пропало, поминай Гестаса как звали, а ты ещё живой, ну вот, отлично, не дёргайся, не кричи и не плачь, твой жожак дурак, он от меня чуда хотел, чуда, а теперь ты будешь жить, ведь не полостное ранение, не в живот, кишки тебе не разверотило, кровищи только море, так и хлещет, ну я пальцами зажму артерию, и операционную площадь простыней осушу, делать нечего, зажима-то тут нет, слава те-

бе Господи, все остальное нашлось, да ведь и помощника у меня нет, всё один, ну так, без перчаток, Гестас, одной рукой сведу и стисну края раны, иглу в зубы, нитка чудом вдета, видишь, есть на земле чудо, а теперь шить, мы же всегда всё сшиваем рваное, нельзя терпеть дыру, её надо заштопать, на жизни дыра, смерть, давай захомутаем её, наложим заплату, никто и не увидит, крепкий шов наложим на рваную рану, смерть, пускай она корчится под иглой, орёт, вот так, так, ещё шить, сшивать, жить-поживать, ты будешь жить, дурак, и вожак твой дурак, и все вы дураки, а может, и нет, ходите рядом со смертью, чтобы полнее, счастливее ощутить жизнь, давай, тупая какая игла, кожу протыкаешь, а она не лезет, пронзаю насквозь мягкие ткани, крестовидные наслоения мышц, рыбацью сеть капилляров, сгустки хрящей, ломкие ветки суставов, кровавую губку пузырчатых лёгких цвета густого Пасхального кагора, человек же такой красивый, он чудесно устроен, сам человек чудо, великое чудо Бога, сделан по образу и подобию Божию, а никто в это не верит, думают, человек сам по себе, а Бог Сам по Себе, но это неправда, а правде не верят, правда это всегда ложь, правду отрицают, правду гонят, над правдой смеются, правду бичуют, правду распинают, но от этого всего она не перестает быть правдой, это и есть чудо, люди, дураки, ах, бедняги, милые, родные люди, ведь это же и есть чудо, и это правда, все, Гестас, дружище, терпи, потерпи ещё немного, сейчас, сейчас всё оборвётся, сейчас закончится чудо, наше с тобой чудо, возвращение к жизни, ты вернулся, я тебя вернул, вот и прекрасно, вот и все, последний шов, так, покрепче затянуть, зубами откусить, ну что ты, доктор, зачем зубами, вот же, рядом с тобой ножницы, схвати их и откромсай всё лишнее, отсеки, отрежь. Так. Всё!

Я швырнул ножницы на стол, они зазвенели.

Передо мной лежал разбойник Гестас и тихо стонал.

Я обработал, промыл водкой, залил йодом и зашил ему колотую рану. Ничего особенного. Никакого чуда.

Простая операция, простецкая, студент медицинского факультета сделает без труда.

Я продолжал читать заключенным Евангелие. Когда нас выгоняли на прогулку в тюремный

двор, я понимал: вот она осень, вот оно предзимье, скоро снег повалит. Настало утро, нам всем приказали: на выход! с вещами! — и из одной тюрьмы погнали в другую. Пешком, через всю столицу. Ранним осенним утром, затемно. Нигде не горел свет. Ночью город погружали во мрак. Чтобы враг не узрел его с воздуха и не начал сбрасывать бомбы.

Мои воры молча топали рядом со мной. Я шёл, ими окруженный. Мне это даже нравилось: защита. От кого? Кто собирался напасть на нашу тюремную колонну? Мне захотелось на фронт, в мой покинутый госпиталь. Там я приносил пользу Родине, находился на своем месте и в своё время. А в тюрьме я пребывал в безвременье. Мне иной раз чудилось: это застенки Понтия Пилата, и я вправду среди разбойников, приговоренных к казни, и рассказываю им то, что ещё только должно произойти. Завтра.

Так мешались в одном котле времена. Я отощал, с усмешкой щупал свои железно торчащие ребра. Сам себе прощупывал печень. Увеличена. Это недоедание. Проще сказать, голод. В баланде, приносимой нам, плавали свекольные хвосты, а мы смеялись: крысиные.

В новой тюрьме нас разделили. Воров угнали в неизвестность, меня и ещё трёх человек всунули в пустую, маленькую, тесную камеру с двумя нарами. Будем спать валетом, процидил бородастый узник. Я уловил в нем сходство с тем госпитальным доктором, вспомнил, как мы виртуозно и просто сбежали из вражеского плена. Он сказал: поздравляю нас, товарищи, мы политические! Я задумался. Я — политический? Почему? Потому, что священник? А разве вера — не личное дело человека?

Не-е-е-ет, нашептывал мне тонкий лисий голосок изнутри, нет, врешь, нет у нас больше никаких личных дел, всё общественное, всё — общее. Всеобщее. И будь добр...

Я не додумывал. И так было всё ясно. Нам всем раздали бараньи тулупы. Меж собой мы толковали: значит, далёко повезут. На Север, на Урал, может быть, в Сибирь. Нас однажды повели на прогулку в тулупах. Вышли, а под серым шерстяным небом снег, и блестит, как старое столовое серебро. Наледью покрылся. Я присел на корточки, взял снег в руку и ел его. Пить хотел, а воды давали мало.

Обратно в камеру вели нас — узрел я около открытой двери соседней камеры мальчонку. Он стоял и дрожал, в босиком, в одной рубашонке, видно, только привезли, сдёрнули с постели. Ребёнок! Зачем в тюрьмы детей забирают? Дети-то что такого преступного сотворили? Я подошёл к дрожащему мальчонке, стащил с себя тулуп и набросил ему на плечи, и укутал его, и поцеловал. Где мои дети? Где моя жена? Всех взяла война. Всех съело Время.

Пошёл по коридору, не оглядывался. Надзиратель орал: отставить! Но не подбежал, и у мальчишки мой тулуп не отобрал. И меня карцером за провинность не наказал. Я уже знал, что такое карцер. В карцере уже два наших вора по пять дней посидели, и оба заболели туберкулёзом. Если бы сорвать хвойную ветку и пожевать, жевать каждый день. Ни цинги, ни чахотки. Да в тюремном голом дворе ни сосен, ни елей.

Я всех лечил. Люди болели, заболевали часто, лекарств не было никаких. Особо тяжелых отправляли в тюремный лазарет, и там они умирали. Не вернулся в камеру из лазарета — все ясно: увезли на погост. Чем же я лечил людей, мое дитятко? Да всем, что в моём распоряжении имелось: кашляющему грудь ладонями докрасна разотру, тулупы навалю, — согревайся, нужно сухое тепло. У кого глаз заболит, загноится — попрошу у надзирателя кипятку, заварим чаю, у бородача в сапоге таилась чудом пронесённая в застенок пачка грузинского чая, и тою крепкой чайной заваркой больной глаз промываю. Кто на живот пожалуется — тоже крепким чаем потчую. А есть не разрешаю. Так, простым чайком, вылечил несколько отравлений. В клозете велел всем тщательно мыть руки с мылом, пока там на краю раковины валялся отрезанный ножом от большого куса синий, с прожилками, обмылок. Неровён час, уберут, а вы, люди, держите руки в чистоте! А ноги, ноги в тепле. А живот в голоде и так у нас уже. А голова в холоде: нет у нас тёплых цигейковых ушанок, охотничьих лисьих треухов. Выходим во двор воздуха свежего глотнуть, в ушах ветер свищет. Всё по правилам медицинским. Все предписания доктора исполнены.

И на старуху бывает проруха; а на старика и смертушка не крепка. Захворал и я, здоровьишко в неволе терялось ежеминутно. Безумный грипп свалил меня. Я кашлял, хрипел, поднялся дикий

жар, я метался в жару на тюремной койке, и, потом сокамерники сказали, бредил. Когда вынырнул из тяжёлого бреда — мне сообщили: скоро пускаемся в путь по этапу, повезут на поезде, по слухам, на восток. Лежал ли я в лазарете? Дитятко, я не помню. Память отшибло. Может, и лежал. Тогда спасибо тюремным врачам, что меня выходили. Вирус жрёт человека изнутри, и может до костей сожрать. И сделаешь ты последний вдох, а выдыха не будет.

Эшелон с арестованными трясся, скользил вперед и вдаль по чехоням-рельсам, бежал обречённым путем по узким, скользким от иней стальным селёдкам, и кормили нас селёдкой, а вагон качался, переваливался на рельсах чудовищной уткой, и всё было живое — и вагон, и эшелон, и парчовый алмазный иней, и заснеженные сосны и пихты по обеим сторонам дороги, и вороны и сойки в чёрных колочих ветвях, и крики, ругань, смех и стоны узников, а я один сидел мёртвый, Временем приваренный к твёрдому дорожному топчану. Ни спать, ни пить, ни есть, ни глядеть. Глаза чуть прикрыты чугунными веками. Вижу всё внутри. Продолжаю видеть.

Трясаясь в вонючем вагоне, я видел все внутри.

То, что произошло тысячи лет назад; то, что через тысячи лет должно произойти.

Я один. Я лечу.

Да нет, не людей лечу. Я лечу над Мiромъ.

Это всем только кажется, что я живу, дышу, среди людей передвигаюсь. Делаю дело свое, и стараюсь делать его хорошо. В тюрьме свои дни влачу, послушный воле людей, лишивших меня свободы. Нет. Я не здесь. Я не только здесь. Я ещё и здесь. Небо ли это? Время ли? Не знаю. Это мой полет. Раскинуть руки, так удобнее лететь, проще. Гляжу вниз. Мне чудится, у меня за спиной хлопают крылья, перья чуть звенят, посверкивают в лучах звёзд, и у меня от этих искр по голым рукам ходят мелкие сполохи.

Я не знаю, одет я или гол. Руки вижу: нагие. Сильные, все в игре мускулов. А через миг — старые, с дряблыми мышцами, со стариковскими пятнами-бородавками. В таких руках нельзя держать скальпель и делать разрез. А если к тому же и зрение угасает, тебе не место у хирургического стола, доктор. Сиди в кресле, держи кошку на коленях, гладь ласково.

А я лечу.

Я здесь, в тесной и тёмной камере, в камерке, внутри человеческой каменной постройки, где томятся, не зная своей вины, арестованные люди; и я здесь, в ночных небесах, и отсюда, с небес, далеко внизу, я вижу мою Землю, а на ней идут войны, сшибаются миры, народы в кровь бьют друг друга, топят, сжигают и вешают, расстреливают в упор, один народ убивает другой, из ненависти, а бывает, из любви, ведь когда зверь-человек любит и страдает, он хочет убить того, кто причиняет ему страдания. А когда он любит и счастлив, он хочет убить того, кого любит и кто любит его — чтобы его любовь никому другому не досталась. Чтобы только он один владел! И один — помнил.

Я лечу. Полёт ужасен. Он бесконечен. Я не знаю, когда он оборвётся. Меня тошнит, кругом катится голова, зрение обостряется до яростного блеска гранёного алмаза. Я лечу и гляжу вниз. Я не в тайной замкнутой камере. Не в тюрьме. Им меня не запереть. Я всё вижу и всё запоминаю. Гляди, говорю я себе строго, и запоминай: кроме тебя, этого больше не увидит никто.

У меня в руке невидимый жезл. Вижу его только я. Он отсвечивает золотом, он сплошь усыпан росой мелких алмазов. Звёзды? Слезы? Всё равно. Вижу: небо омывает чёрной кровью мои босые, раскинутые в полёте ноги. Их пока не сломали в пытках. Они не покрыты шрамами от боевых ран. Я часто испытывал сильную боль, и я не боюсь боли. Я боюсь предательства. Я боюсь предать Бога моего; я уверовал в Него и я люблю Его, и все, что я вижу внизу, в земной прошлой жизни и в будущих веках, это Его достояние.

Не моё.

Оно моё, лишь пока вижу.

Сейчас вижу. И говорю. Лечу и говорю. Сам слышу свой голос. Надо, летя, говорить, тогда будет не так страшно. Пространство тоже может убить, как и Время. Это два убийцы человека. А человек мечется среди них, то к одному прижмётся, то к другому. Они оба ему родные. И оба — его палачи.

Солнце здесь, высоко над Землёй, горит не жёлтым, а синим светом; иногда голубым, в алый отсвет; иногда белым, слепящим. Золотое Солнце только на Земле, на берегу реки, в день, когда не бьют разрывными и не взрываются снаряды. Над рукавами рек, над синью

плачущих озер лечу я, летит мой голос. Могу даже закричать! О том, что вижу.

Грядущая жизнь, ты благодать! Жизнь, ты вечная благодать! И там, через тысячелетия, ты будешь благодатью! И так же бедный человек будет любить тебя, и так же будет стараться жить, не умирать, не умереть! Стать землёй и воздухом, огнём и водой! Разве это участь! Мы не стихии, мы люди! И хотим пребыть людьми! И остаться людьми! И там, через тысячи лет, мы все будем людьми; и там мы будем любить и ненавидеть, мстить и сражаться, есть-пить и молиться. И рождать, рождать на свет себе подобных.

И умирать, проклятые... умирать...

Лети, кричал я себе, зри, запоминай! Умирать, люди будут всё так же умирать! Как и сейчас! И даже от рук друг друга! Есть я, и есть мой враг! Есть Христос, и есть бичующие Его! Но ведь Он простил палачам своим! И мы должны простить! Но нет! В груди несём не прощение, а вечную войну! Да, она справедлива! Да, освободительна она! Но, освобождая нашу землю от врага, мы убиваем человека! Того. Другого. Иного. Чужого. Не наш! Убей. Враг! Убей. Он твоего сына убил, твою семью убил, твою душу убил — его убей!

Я вижу там, далеко, очень ясно всё, до мелочей, с такой высоты нельзя их разглядеть, а я всё равно вижу, вижу, наплывают, ползут друг на друга колонны чудовищных гигантских машин, эти механизмы не известны в моем Времени, они не круглые и не квадратные, у них пять железных углов, вместо гусениц танков, нам хорошо знакомых, у них стальные паучьи ноги; сочленения гнутся и шевелятся, ноги переступают быстро, пятиугольное железное брюхо ноги несут легко, будто не на земле бой, а в невесомости, в туманном сне, с полей наползает сизый голубиный туман, я вижу, как рядом с ползущими по земле стальными каракатицами бегут люди, держат за края белые квадраты, да, я понял, что это, я рассмотрел, это такие будущие носилки, они огромные, необъятные, да, на них лежат люди, лежат плашмя, кто корчится, кто свернулся в утробный клубок, кто на животе валяется, кто рвет на себе от непереносимой боли волосы, это солдаты новой войны, а носилки-то твёрдые, такие квадратные, цвета снега, невесомые доски, и люди, тяжёлые, грязные, в крови, они на диво тоже невесомы, ничто не весит, всё только снится, и бойня

эта новая снится, только жертвы настоящие, и надо быстрее из битвы их унести, все такие же врачи, все такие же санитары, а вот лежит в центре белого квадрата человек, нет, уже не человек, месиво из костей, потрохов и взорванных мышц, это человек, голодный, живот подвело, нашёл в кармане убитого врага заморскую сладость, жадно съел её, и снаряд, величиною с чечевицу, разорвался у него внутри.

Человек убивает человека. А там, вдали, над полем, я вижу, как сшибаются тучи. С одной стороны наползают тучи светлые, облака кучевые, летят из них стрелы солнечные, стрелы пламенные, стрелы огненные; с другой стороны наваливаются тучи смоляные, нефтяные, дегтярные, цвета взорванной земли; они, несомые грозovým ветром, приближаются быстро и неотвратимо; летят из них чёрные длинные копья, вонзаются в светлые, сияющие тела лёгких, победно-радостных облаков. Битва Небесная! Битва Предвечная! Там, в небесах, времена и народы быются — не на жизнь, а на смерть. И очень важно, кто победит. И — надо победить! Даже если все умрем!

Я лечу, я вижу: отныне и навсегда мы будем жить внутри войны. Мы всегда будем воевать. Эта битва, мы мним её последней, она растянется на века, на тысячелетия. На вечность.

Санитары тащат носилки. Мы их перевернём! Кто это мы? Мы не знаем, кто мы. Нам бы это узнать. Не санитары носилки волокут. Их тащит вихрь. Ветер. А люди просто держатся за края белизны. Когда перевернутся носилки вихря, когда встанут друг против друга и оскалятся, как звери, санитары, начнётся новая война.

Тогда нельзя будет отличить людей Бога от слуг Князя тьмы. Все поменяются местами. Новая война налепит на людей новые ярлыки. Вот идет, грохочет новое орудие смерти: дом на колесах, величиной с гору, гремит всеми железными листами, шурупами и болтами, если он на тебя напозёт, раздавит тебя кровавой букашкой под бешено вертящимися колесами. Дом вздымается стальной волной, дом издаёт человеческий крик. Погибая под взрывами, дом хрипит, но убить его слишком трудно, ибо он имеет способность возрождаться. Железо, если оно мыслит, человеку подобно, и размножается, подобно человеку, оно уже бессмертно, и сжигай его не сжигай, оно воспрянет и восстанет против че-

ловека. Убьёт родителя своего. Да ведь так и дети поступают с отцами и матерями; отцеубийца проклят, матереубийца казнен на площади, да только вновь и вновь они, убийцы тех, кто их породил, приходят на землю. Всё возвращается. Хорошо это или плохо? Мы мечтаем о бессмертии. А ведь оно хуже самой лютой казни. Я, врач, спасаю людей от смерти, и я всё время забываю, какое благо — умереть.

Лечу и вижу. Лечу и плачу.

Лечу, а может, еду, а может, сплю. Нет, это меня на подводе в новом городе везут в новую тюрьму. Холодно. Это Север. Меня привели в новую камеру, там угрюмо сидели и молчали новые люди, я сел на нары, опустил глаза и закатал штаны до колен. Мои ноги неимоверно распухли. Это плохо работало сердце. Не тянуло тяжёлый воз изношенного тела.

Я был ещё молод, дитятко, а уже как старик.

Ночь прикрыла нас и наши одинокие слёзы толстым, беспросветным траурным платом. Я лежал и глядел в потолок. Думал о войне. Она шла далеко и бесконечно. Я закрыл глаза, хотел уснуть. Не получилось. Я видел перед собой большую войну, другую, не нашу, там люди сражались невиданным оружием; потом вдыхал ароматы мира, потом надвинулись видения ещё одной войны, потом ещё, и я перестал расставлять войны по старшинству, по ранжиру и росту, я просто понял, что им нет конца, и стал я безутешен. Нас желают захватить! Но мы не дадимся. Не поддадимся! И Давид побивал несчастных филистимлян ослиною челюстью! И героиня Иудифь отсекала голову вражескому царю Олоферну! Чем мы хуже? Но ведь и не лучше! Война всеобща. Теперь нам надо в ней жить. Мы не выберемся из неё. Если и возникнет замирение, оно на час, на полчаса. Передышка. А потом опять.

Да, опять, на другое утро, после ночи в холодной тюрьме в холодном, до крыш заваленном снегом и льдом городе, нас погнали на вокзал, толкнули поезд, и шатались мы в нём, живые маятники, до другого города, и я, доченька, не помню ничего, что было в тот день. Ничего! Старая память. Нету памяти. Как красиво лежат твои беленькие коски у тебя на груди. Я не вижу глазами, но я вижу сердцем. Будто седые, но ведь ты не старушка, а девчонка. А будто ста-

рушка. Я священник, я и старуху могу назвать во храме: дочь моя.

Явился и третий поезд, и третья дорога. Мы понимали: едем по Сибири. В третьем арестантском вагоне маленькие зарешеченные окна, как дырки скворешен, торчали под самым потолком. Я вставал, мне на плечи взбирался, кто помоложе и похудошавее, а по нашим спинам на самый верх, как в цирке, залезал совсем мальчонка; осуждённые дети тоже ехали с нами. Вагон был набит людьми до отказа. Кормили нас селёдкой, и иных селёдкой рвало, и все страшно хотели пить. Я призывал всех терпеть и вслух молился. Кто повторял молитвы за мной. Кто глумился и пытался меня переорать бодрой песней: наш паровоз, вперёд лети, в коммуне остановка! Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка!

Население нашей вагонной камеры удивляло пестротой. Бандит, он громко хвастался, скольких убил; людей называл «мясо»; два вора-щипача; белобрысый мальчик лет десяти; трое рабочих с лесопилки; фортепьянный настройщик; двое почтовых служащих, жаловались, что прямо на почте их и зацапали, и мёрзли они в лёгкой, не по зиме, одежде; две уличных шалавы, одна старая, другая юная, чуть постарше тебя, милая; ночью распутницы ускользали к охране, увеселять ее и потешать, за это стража оделяла их куском хлеба, и однажды ломоть сыра старая шалава притащила, а молодая — рыбные консервы, «Камбала в томатном соусе», название, видишь, запомнил.

Бабёнки хлеб и иную пищу нам вручали, просили: разделите поровну. Я был поражен таким благородством души. Мне давали свободу распределять еду. Я воображал, как эта еда была заработана. Разламывал хлеб, раздавал куски страждущим, и слёзы заливали мне слепое от горя лицо. Я глядел, как люди ели, искоса взглядывал на шалав. Шалавы тоже глядели, как люди ели, и плакали, как и я, утирая щёки и носы грязными, в саже, ладонями.

Нас всех, весь поезд, привели в третью тюрьму. Я усмехался: Бог троицу любит. В новой тюрьме у меня стащили все мои вещи. Ничего у меня не осталось. Я стал гол как сокол, и даже радовался этому. В камере сидели злые люди. Они захотели меня убить. Я с большим сожалением вспоминал про свой острый скальпель, когда разбойники ночью напали на меня и стали бить, и все приго-

варивали: убьём, убьём, мокрое место от тебя останется! Почему они меня невзлюбили, я не понял. Может быть, за молитвы. Я молился вслух. Это могло им не понравиться.

День я лежал, избитый, потом неделю заживали кровоподтеки. Ни слова не сказал охране. Все слова в заключении напрасны. Словам не верят. Да и самой жизни не верят. Верят только смерти. Она приходит, и человека надо списать со счетов, заполнить нужную документацию, вот это настоящая работа.

Новая тюрьма располагалась в подвале огромного, величиной с корабль, старого каменного дома. Зима вымораживала нас в камерах, как клопов. Я выходил в коридор, нас вели в отхожее место, однако в коридоре живого места не было, все заросло столетней засохшей грязью. Со двора доносились выстрелы и крики. Убивали людей. Разбойники подходили к окнам, наблюдали расстрел, гоготали. Я не смотрел в окна на смерть. Отворачивался. Опять плакал.

Слёзы текли по щекам уже безостановочно. Я презирал себя за это.

Я хотел на войну.

Хотел к хирургическому столу.

А не отскребать постыдную грязь во мрачном, душном коридоре тюрьмы.

Братцы, мы тут живем как в гробу, вышедил беззубый разбойник, что крепче всех лупил меня недавней ночью. Из гроба мы скоро вышли на свежий зимний воздух. Нас построили в ряд по двое и повели. Перед строем ехала чёрная кургузая машина и гарцевал всадник на гнедой откопленной, толстозадой лошади, лошадиная шкура лоснилась. Мы шли долго. В пути ослабли, свалились в снег люди. Остались лежать. Нас гнали дальше. Мы уходили и оглядывались. Обессиленные не шевелились. Я сказал беззубому: лучше замёрзнуть и тихо уснуть, чем такая жизнь. А он мне знаешь что ответил? Негоже батюшке так рассуждать. Всякая жизнь дорога. Другой у человека не будет.

Так разбойник научил меня, священника, любви: в который раз от Сотворения Мира.

Остановились на ночлег в заметенной великими снегами деревне. Спали на полу вповалку, живыми бревнами, теснее друг к другу прижимались, чтобы согреться. Среди ночи в дверь бешено застучали: отворитесь! мужик помирает!

мучится очень, силов нетути глядети! Охранник дверь открыл. На меня гаркнул: ты дохтур, што ли?! Я что было сил побежал за плачущей взхлёб бабой в огромном, с кистями, платке, и ноги вязли в глубоком снегу, я их зло вытаскивал из сугроба, вытряхивал из валенка снег и бежал дальше. Дом гремел на метельном ветру разъявленной дверью. Мужик лежал на широкой лавке, руки свешивались до полу, охал, иногда вскрикивал и скрежетал зубами.

— Где болит?

— Животе-е-е-ень...

— Здесь?

— Да-а-а-а! Ай!

И опять я родной скальпель вспомнил.

— Хозяйка! Нож острый с кухни тащи!

— Охти мне! Каковской? Тесак свиной?

— Да хоть его! И водки, хоть на дне бутылки!

— Как жа, как жа... без водки-то, ах...

Принесла. Я обжёг лезвие на пламени свечи и полил потемневшую сталь водкой.

— Ещё, мать, ваты неси.

— Што-о-о-о-о?!

— Ах ты Господи... Ну, корпию. Ветошь! Тряпки ненужные! Кровь чем буду промокать! Быстро!

Баба притащила целый мешок разномастных тканевых обрезков.

— Вот, дохтур... эх, толечко не ори ты так...

Я быстро и крепко привязал тряпками руки и ноги мужика к лавке. Задрал ему рубаху. Спустил портки. Антисанитария! А делать нечего. Вперёд, хирург! На войне как на войне!

Я сделал широкий разрез. Сразу живот распахал. Аппендицит, типичный. Хорошо бы не гнойный. Ну, Господь, храни меня! И мужика. Без Тебя, Господи, никуда! Пусть иные смеются! А вот никуда!

— Таз принеси...

Баба носилась по избе как помело.

Медный таз брякнул об пол около лавки и около распятого мужика. Живот вздувался. Кровь лилась на пол. Я ущупал червеобразный отросток, вслепую отыскал кончиками пальцев, в разлитой кровавой луже раскромсанной брюшины, его основание и рубанул обожжённым тесаком по налитому гною червя. Так быстро швырнул его в таз, что сам испугался.

Мужик заорал.

— Мать! А йод у тебя в избе есть?!

— Дохтур! Што таковое ё-о-о-от?! Не знаю-у-у-у-у!

— Не вой как волк...

Значит, водкой обойдусь.

— Половник неси!

Кровь половником из брюха вычерпывал. Таз наполнялся. В ночи, при свете тусклой свечи, кровь чернела, как варенье из черноплодной рябины. Моя жена, в другой жизни, варила такое.

Мужик орал.

Ветошью кровь обтирал. Ветошью тампонирует распаханную, как дышащее поле, брюшную полость. Грязной ветошью! Мыши в ней ночевали! Что я делаю! Сепсиса мужику не избежать! Но вертел и вертел из тряпок тампоны, и совал, совал их в разрезанный живот.

Господи... шить...

— Баба!

— Божечки, божечки...

— Иглу мне, наибольшую, какую найдёшь! И нитку толстую, суровую! Можно — шерсть! Пряжу!

Баба незряче отматывала от клубка нить, перекусывала зубами, в зубах принесла мне иглу, я вытащил у неё иглу из зубов, губы её тряслись. Игла вспыхивала под свечой. Детонька, глаза мои в те поры зрели Божий Мирь, я вдел в иглу пряжу, соединил края разреза и стал шить. Шил, шил, всё туже и туже затягивая стежки. Мужик орал. Вдруг перестал орать.

Я отступил от лавки на шаг. Вытер лоб кровавой рукой. Кровь, видать, размазалась у меня по лицу, и баба отпрыгнула от меня, как от ведьмака.

Согнулась, как переломилась, в земном поклоне. Стала падать, валиться на меня.

— Ну что ты, баба...

Я подхватил её под мышки, усадил на лавку, в ногах мужа. Отвязал мужика от лавки.

Баба ревела в голос, должно быть, от радости. Мужик прохрипел:

— Экой ты ловкой... яко охотник в тайге...

Баба цеплялась за подол моей изорванной в долгом пути рясы.

— Батюшка родненькой!..

На табурете, у изголовья мужика, лежали: красный нож, красная игла, обрывок красной нити, выпачканный кровью клубок. Тряпки валялись под лавкой, по половицам, у печи.

Будто разноцветные котята в тепле спали. А кошка гуляла на морозе.

Я погладил бабу по голове и широкими шагами, сам боясь разреветься, вышел вон.

За мной, ругаясь страшно, побежал охранник; пока я оперировал, он привалился к печке и задремал, а сейчас я уходил у него из-под носа, неровён час, в тайгу убегу, и поминай как звали.

...страшные машины передвигались по небу мгновенно. Возникали из ничего, из тумана.

Растворялись в текучем, пламенном воздухе.

Они сжирали воздух и рождали пустоту; мгновенной молнией утекали по руслу пустоты, проваливались в её разверстые дыры. Третья война убивала сама себя, а люди думали, что убивают друг друга. Враг — врага. А это война ярилась, рыдала и хохотала, лишая себя жизни на глазах у всех. У каждого.

Люди думали, Третья война — последняя. Ничего подобного. Я видел ту, что явится позже, Четвёртую войну. В Третьей оружие приходило из ниоткуда и исчезало в никуда. В Четвёртой на дико орущих людей летели, быстрее звука и света, с косматых мрачных небес стальные носороги и крокодилы, тупорылые железные киты. Они летели, они падали, чтобы разбиться о наши безумные головы, но не разбивались, а в последний миг зависали над собственной смертью, наставляли железную морду на тебя, да, прямо на тебя, и тогда уже приближались медленно, жутко, завывая, клооча, надвигаясь неотвратно, и круглые стеклянные глаза их оживали и вращались в глазницах, их вращал чужой безмолвный приказ, сила неведомой мысли, машины слушались не руля, не педали, не кнопки — они подчинялись мысли, мгновенной её вспышке, то отчаянной, то победной, поэтому они двигались по небу, по земле и в глубине океана могучим продолжением беспомощного человека, и человек становился непобедим.

Да, самолёты в виде крокодилов налетали и глядели нам в перекошенные последним ужасом лица, а на троне надо всем Мiром сидел один Владыка, и отмерено ему было жизни, я знал, немного. Я видел его изрезанное оврагами морщин каменное лицо. Он закидывал голову, тяжёлая корона валилась с его головы прямо в снег, ибо трон стоял, врытый во льды и снега, это бе-

лыми глазами глядели в тебя полюс и вечный мороз, и Одинокий Царь сидел, укутанный в древние шкуры горностаев и белых песцов, и грел руки одиноким дыханием. Прищурясь, он глядел вдаль, на торосы, на густо-зелёную кромку застывающей у берега воды, на алое лезвие заката, так похожего на смерть. Он глядел на рыбацью лодку. Она медленно плыла вдоль берега, и Царь не различал в ней рыбака. Я его видел. Старика с чёрно-седой, кольцами, буйно-бешеной бородой. Старик мерно грёб, и я рассмотрел: рыбак-то в рясе. Батюшка на рыбную ловлю в море вышел. Что ж, рыбку и Апостолы ловили. Всё правильно. Так и надо. Земля умирает, железные крокодилы пожрут её и всю жизнь на ней, а ты знай рыбу лови, соли, вяль, вари, жарь. Рыба — жизнь. Не зевай!

Гляди, последний Монарх, думал я, созерцая ту картину, мелко дрожа на холоду Времени, он свободен, твой подданный, твой рыбак, ты уже не можешь им управлять, ему повелевать, ты можешь только на троне восседать и пялиться в небеса, насквозь изрезанные железными китами и косатками. Ты приказал разрушить Мiрь — а он плывёт! Ты приговорил белый свет — а он плывёт! Всё живёт, и на тебя плевать хотело!

Но видел я, теряет лодка путь, плутает рыбак, правит в открытое море, и больше не вернётся, а благословенно это или страшно, он сам не знает, в открытом море много рыбы, но много и гибели. Железные спруты поднимаются со дна. Железные Левиафаны загрызают одиноких ловцов. Оглянись! По берегам лепятся к горам города, сёла, деревни, соборы, церквушки и часовни; люди до последнего верили в Бога, они и сейчас верят в Бога, всё ещё верят, всё ещё...

Ну что, Владыка, ты бы рад был приказать роскошному Вавилону: умри; бедняцкому селению в далёких горах: а ты живи! Не можешь. Ты уже ничего не можешь. Твоя Четвёртая война сильнее тебя. Люди победили Третью войну, они её пережили, переплыли, вместе с тем рыбаком, в той самой рыбацкой лодке, он накормил одной-единственной своей жизнью всех голодных, страждущих, плачущих, погибающих, — а Четвёртая побеждает людей; ей не нужны ни хлеб, ни рыба, ни жизнь, ни смерть, — она, железная, выше смерти, она смеётся над жизнью и над бессмертием, надо

всеми богами и царями, и над единственным Богом, и над единственной землёй, чёрным шаром катящейся под нашими умирающими ногами; ей и она сама не нужна, её молитва — самоубийство, её завет — ничто. Пустота. Зеро.

Древние мудрецы учили: в моём конце моё начало, в пустоте наивысшая полнота. Неужели они нас обманывали? И себя — обманывали?

Я видел: казнь Земли вот-вот совершится. А под ногами моими — Родина. Она вся в снегах. В песцовых, в соболевых, царских шкурах. В рухляди драгоценной. В мантии искристой. Давно нашей верой коронована, а ликом с Божией Матерью схожа. Родина, икона моя! Я с моей войны много писем домой написал. Мысленно. Покинутой жене, утраченным детям. Я безумец, да, но кто же из безумцев в этом признается? Может, и верно, что я, ныряльщик во Время, оставил жену мою и детей моих и пошёл на войну, и повлёкся, как на войну, в неволю. Плох тот человек, что не испытал войны, революции и тюрьмы. Я всякую наблюденную мною смерть пережил, как свою. Воскресал. Утекал вперёд кровавым ручьём. Торил кровью свою дорогу в снегу: тем, кто после придёт, кто идёт за мной.

Враг, он никогда не возьмёт нашу столицу. Наш великий град — город Солнца. Луна катится колесом. Вглядывается сквозь ночь в спящих нас. Мы спим нашу последнюю ночь. Я вижу эти бумаги, читаю эти косноязычные, злые законы, указы, кипящие ненавистью. Всё. Приближается кончина. Воздымется океан. Хлынет вода на берега, зальёт города, вскипит в узких пещерах улиц. Океан уже надвигается на сушу, солёная вода накроет нас; это все наши слёзы, на всей земле пролитые когда-либо.

Откуда движется на Родину смерть? С Запада? С Востока? Всё равно. Сражаться. Вот что остаётся в Четвёртой войне. Да и в этой, нынешней, то же самое остаётся: нет замирения, нет переговоров, нет надежды. Война каждый раз последняя. Она всякий раз — конец света. И, сражаясь, мы не знаем, отодвигаем мы его или приближаем.

С Востока по морям идёт один вражеский флот, идёт другой, дружеский флот, и мы путаем на кораблях биение флагов, мы не различаем, друг приближается или враг, а надо зорче быть, надо вглядываться вдаль и понимать, кто

перед нами. Пустеют храмы Божии. Кричат чайки над морем. Разве я когда-нибудь увижу море? Какое оно? Неподвластное оку? Зрение, ты же Райское блаженство. Мы, обладая зрением, живем в Райском Саду, но не осознаём того. Рассыпаны по морю острова. Война — остров в Мире. Мир — остров в войне.

Снежные змеи ползут. Обвивают мне ноги. Море отхлынуло. Железные крокодилы прогудели над затылком и утонули в тучах. Метельные змеи обнимают, крутят меня в танце. Я в тайге. Я иду сквозь тайгу. Здесь нет войны. Ни нашей, ни Третьей, ни Четвёртой, никакой. В тайге, в медвежьей берлоге, спрятаны дети последнего Царя. Они ещё не родились. Но они уже там. Я их вижу. Их упрятали, чтобы их не убили. Землю всю выжгут дотла, а дети выживут. Зачем? Они не сумеют добывать себе пищу. Они умрут.

Все умрут.

А когда все умрут, из подземелий Ада выйдут на поверхность земли старики и старухи.

Они выйдут, чтобы увидеть, как умирают их дети, внуки и правнуки. Чтобы увидеть мёртвых детей. Тогда они поймут: и мы мёртвые. Они услышат крики, услышат молчание, услышат смерть. Услышат голос ничто.

И старики захотят, чтобы двигались их руки и ноги, захотят увидеть, как полыхает огонь, как умалишённо хлещет в лица людей вода, погребая их под собой. Они крикнут: последний Царь, ты сумасшедший! Ты никто! Ничто!

Я прошепчу старикам: это Антихрист, неужели вы его не узнали.

Но старики не услышат моего дикого шёпота.

Отчего война? Почему ненависть? Какой правитель вызывает другого на бой? Когда придут к согласию? Когда все будут сожжены, застрелены, взорваны, утоплены, задушены, зарублены, зарезаны, мертвы? Когда один, некто, полоумный, соберёт под чужой пограничной стеной тайные войска, и затаится, и станет выжидать удобной, роковой минуты?

И люди превратятся в диких зверей. Зарычат. Завоют. Станут изгибаться хищными телами, у них отрастут хвосты, и ими они будут бить по земле, возбуждая себя для близкой кровавой грызни.

Зачем война? Чтобы завоевать? Чтобы покорить? Чтобы царить?

Я никогда не хотел быть изгнанником. И вот

я изгнанник у себя на Родине. Я на Родине, и я в её тюрьме, и меня бьют и мучат мои родные люди, и я уже не на земле, я в последних небесах, в последней тайге, на последней тропе. Я не могу зверино ненавидеть. Я не могу участвовать в заговорах. Убивать из-за угла. Я в человеке напротив вижу родню. Даже в старом разбойнике. В наглом бандите. Я согласен быть убитым, чтобы только чужой мальчонка согрелся в моем казённом тулупе.

Мы рабы, но мы не разучились петь песни. Мы поём даже гимн нашей Родины. По утрам, когда нас поднимают в тюрьме на переключку, мы гимн поём. И теперь, когда мы с охранником идём по морозной тайге, по хрусткому хрустальному, жёсткому снегу, и визжит он под валенком, как заколотый поросёнок, я тихо, шёпотом пою: вставай, проклятьем заклеймённый, весь Мирь голодных и рабов! Кипит наш разум возмущённый, и в смертный бой вести готов!

Опять в смертный... опять в бой...

Выпустите нас из тюрем! Выплюньте из-за ключей проволоки! И, если вы нас освободите, мы рассыплемся по всей воле цветным запылённым салютом, и мы выйдем на волю не рабами — князьями, полководцами, воинами, героями! Последней в Мире войне нужны герои. Герои — это мы. Мы! А вы нас — за решётку!

Но тем сильнее восчувствуем мы, герои, вождя нашего: Господа. Бог нас ведёт.

И можете в ваших воплях на площадях, в ваших благолепных проповедях нас юридическими именовать! нас оскорблять и грязью мазать! нас проклинать! над нами злобно хохотать! Мы от этого хуже не станем. Мы — сила! Мы — слава. Мы — вера. Мы — воинство. Мы пойдём сражаться за Родину и за жизнь, и мы уже — народ. И, умирая, падая на землю в кровавом бою, мы продолжаем жизнь. Мы не даём земле умереть! Ещё немного! Ещё живи! Ещё...

Падаю на снег. Звёзды над пихтами. Звёзды над острыми верхушками чёрных елей. Звёзды ходят кругами, и у меня кружится голова. Охранник орёт: встать! Я лежу. Надо мной, далеко, в бездонной вышине, в иной жизни, плывёт красная осьминожья звезда. Это Марс. Он чуть красноватый, испускает острые, ножевые лучи. Потом вдруг переливается речным перламутром, гаснет на миг: туча напозла, —

вспыхивает опять, вонзается в глаза. Свет, острый скальпель, разрезает склеру, сетчатку, стекловидное тело, добирается до вождённого хрусталика. Если хрусталик помутнеет, я могу ослепнуть. Ну и пусть. Значит, так суждено. Смирение и терпение, так учили отцы Церкви. Я их наизусть повторяю. И Ефрема Сирина, и Григория Богослова, и Иоанна Златоуста. А превыше всего твержу Иисусову молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.

Марс надо мной. Над нами всеми. Стоит. Не уходит.

И не уйдёт.

Я вижу войны. В будущем. Всегда.

Ныне, и присно, и во веки веком. Аминь.

Третья? Четвёртая? А не хотите, люди, семьдесят войн ждёт впереди?

Богу молитесь? А если всех богов убьют, распнут опять и навек, без малейшей надежды Воскресения?

А не хотите, убийц Бога, убийц всех святых будут из-под земли доставать — и страшно казнить, пытать, сжигать, так человек будет мстить, и, мстящий, будет радоваться, озлобленный, будет злом наслаждаться и во зле торжествовать?

Зло рождает зло. Это закон.

Зло хуже чумы. Хуже оспы, холеры. Злом заболел — перестал в зеркале отражаться. Вот ты, дитя моё, ты ведь отражаешься в зеркале? Отражаешься во мне? Да, шепчешь ты, да! Я слышу. Спасибо тебе за радость. Сердце моё бьётся, когда я рассказываю тебе свою жизнь. Но ведь это и твоя жизнь тоже. Та, которую ты ещё не прожила.

Я говорю тебе, и ты слушаешь, и ты слышишь не только голос: ты обновляешься, очищается твоя душа, под рёбрами сияет сердце твоё, моё сокровище. Прижми руки к груди. Кожа и косточки. Слушай, как сердце бьётся.

Наступит такое время, знай, что сто лет на небе не будет радуги. А потом сто лет на небе будет радуга сиять каждый день. Воссияет на целый век, самоцветная, счастливая. Сухая мёртвая земля новой влагой оросится. Ты выбежишь под ливень, новая ты. Поднимешь руки к небу! Так будешь стоять под стеной серебряной воды! Чистой! Тёплой! Земля напьётся! И ты будешь смеяться! Такая радость, счастье. Ты хочешь счастья? По радуге пойдёшь.

НИКОЛАЙ

Я сам не знаю, как я спас её. Я думал, она уже труп.

Толчок изнутри. Я подошел. Старался не смотреть на разбомблённый санитарный поезд. Смерть мелькала перед глазами, и глаза болели, а я переставал видеть. Не хватало только ослепнуть, да понятно, что не от вида мертвецов. Тут другое. Витаминов ни черта не хватает. А откуда их на фронте взять.

Иногда я вспоминал моего бородатого доктора, соратника, собрата, и думал насмешливо и горько: хорошо хоть, не замучили враги. А близки мы были тогда к тому, чтобы трупами стать. Отличную гнилую дощечку в стене сарая обнаружили; спасибо, дощечка, спасла нас.

Может, где воюет. В смысле, бойцов спасает. Да не пересечёмся уже. Гора с горой на войне не сходится. Кого-нибудь из нас убьют. Не дай Бог.

Бог? Привыкли мы, чуть что, Бога поминать. Вот и я туда же.

Крик раздался.

— Эгей! Доктор! Гребите сюда! Около вагонов полно живых валяется! Может, спасём кого!

Спасать. Спасти. Завет на всю войну. Одно слово. Это вместо клятвы Гиппократ.

Кричу в ответ, глотку надрываю.

— Иду-у-у-у!

Иду.

Парень, обе ноги оторвало, из культей кровь хлещет. Теряет кровь стремительно. Сейчас умрёт. Тут ни переливание не сделаешь, ни зажимы не наложишь, ни жгуты, ничего. Вот уже бледнеет, зеленеет. Я не гляжу, как он умирает. Только хрипы слышу. Тысячу раз я видел, как человек, умирая, странно выгибается. Будто хочет достать что-то важное, невысказанное, откуда? У небес отнять? Не дано ему. Он — на земле — помирает. И ничем смерть не отодвинуть. Никакими руками. И никакими разрывными её не расстрелять.

Мужик, череп раскроен. Ещё дышит. Глаза выкатывает. Ещё видит. Меня увидел. Знаете, мозг, сам по себе, не болит. Серое вещество безболезненно. Болят ветки нервов, его оплетающие. И кожа головы. А мозгу не больно, и черепу не больно. Кости тоже не болят.

И этому жить осталось — раз, два, и обчёлся.

А может, можно попытаться. Попробовать. Попробую.

— Эй! Носилки!

Бегут парни, с носилками. Я показываю на этого, с расколотым черепом. Парни кладут его на носилки быстро, а мне кажется, медленно, как в кошмарном сне. Когда ты осознаёшь, что снится сон, но двигаешься как сомнамбула, бежишь, еле передвигая ноги, и не можешь убежать, бежишь на месте.

Утаскивают. Сломая голову к госпиталю, с ещё живой ношей, бегут. Госпиталь наш рядом, за железной дорогой.

Гляжу вдаль, на них. Вот они уже крошечные, как зимние воробы. Вот меньше чечевицы. Вот уж я и носилки не различаю. Да, ослабло зрение. Масло сливочное, витамин А, печень трески и тому подобная роскошь! Где её взять?

Раненый в гипсе. Нога в гипсе по колено, и рука тоже. Белой кочергой согнута. Вместо второй руки — красное месиво. Стонет. Потом орёт. По сухой траве разливается, медленно впитывается в землю чёрная кровь. Венозная.

— Ты как, друг?

Здесь все мы друг другу друзья.

Прекращает орать. Глядит на меня, как на Бога.

— Воды-ы-ы-ы...

Щупаю пульс на шее, сонную артерию. На запястье. Еле прослушивается. Нитевидный. Рвётся. Аритмия. Выпадения ударов. Экстрасистола.

За мной медленно движется медсестра. Я всё время забываю, как её зовут. Выкрикну имя, а она меня поправляет. Я не Оля, а Даша. Душенька? Дашенька!

А что, если всех их — девок, баб — под одну гребёнку — Душеньками звать? И ласково, и не имя. Дёшево и сердито, короче.

— Душенька... Дашенька, вколи ему морфий, если ещё остался.

— Остался!

— Валий...

Смотрю, как втыкается игла в кубитальную вену в локтевом сгибе. Умелая Дашенька, попадает в вену без всякого жгута выше тока крови. Молодец.

Раненых не вижу, а крики и хрипы — слышу.

— Доктор!.. ступню оторвало... ступню...

— Докто-о-о-ор!.. держу кишки, видишь... держу...

— Доктор... спасите... спаси...

Мать вашу, братцы, я тут спаситель какой-то. Стыдно мне. Немного кого сегодня спасу. Не смогу. Да вы этого не поймёте. Никогда.

Не вижу, это соображаю, от слёз. Я что, кисейная барышня?!

Зло промакиваю глаза обшлагами гимнастёрки. Трясу башкой, как мокрый пёс.

Санитары ведут под локотки раненых. Раненые им за шеи цепляются, повисают на них всей тяжестью. Ковыляют. Теряют сознание от боли. Валяются наземь. Санитары бьют их по щекам, снова взваливают себе на плечи, тащат на себе.

И вдруг! Платье задралось. Лицо передо мной. Женское. Сначала я увидел лицо. В полосках, разводах крови. Будто кто щёки, и лоб, и подбородок нарочно красными узорами расписал, размалевал. Потом увидел руки. Руки сжимали пучки седой травы. В правой трава, в кулаке зажата, в левой трава. Лежала, по земле руками ползала, траву с корнями выдирала, так боль заглушала. Может, чтобы не орать на всё чистое поле. Чтобы враг не услышал.

Потом она открыла глаза, и я увидел её глаза.

Синие. Синие. Синие! Небесные.

Она ударила в меня не глазами — всем небом.

Я уж и забыл, как небо выглядит. Синее, серое, ночное звёздное — мне было все равно. Некогда мне было на него смотреть.

Синие глаза увидели меня. Выкатились из орбит.

Выпучив глаза, она силилась слово сказать. И не могла. Из вымазанных кровью губ вырвались только хрипы.

Потом я перевел глаза ниже. Шея. Трахея. Грудь. Живот.

Весь живот осколками разворочен. Полостное, множественное.

Не жилица.

Я чувствовал, сейчас упаду. Держаться! Экий слабак.

Вдохнул, выдохнул пару раз глубоко.

Женщина всё смотрела на меня. Всё хрипела.

Хрипом, я узнал это, тоже можно говорить и петь. Жаловаться. Плакать.

Голос прорезался.

— Доктор... спасите...

Ну что ты будешь делать. Кроме «доктор,

спасите» больше и слов-то никаких в лексиконе раненых не осталось.

Я крикнул ей:

— Спасу!

Думал, выйдет крик, а вышел хрип.

— Спасите... быстрее... несите... унесите... они снова... два раза налетали... всех убьют... всех...

Я обернулся. Искал глазами сестру.

— Сестра! Сестра! — Чёрт, опять забыл имя. — Морфий! Морфию сюда! Ещё есть?!

Сестра, Оля или там Даша, чёрт разберёт, наклонилась над раненой. Вводила ей в вену живое спасение. Вводила сон. Вводила жизнь. Только бы не перебрала с дозой, а то вместо жизни введёт больному смерть. Смерть это тоже сон, только вечный. Впрочем, может, в её положении это и хорошо. Я наклонился и одёрнул платье у неё на ноге, прикрыл ей ноги. Развороченный живот нечем прикрыть. Живот молча кричит от боли. Брюшина, в отличие от серого вещества, очень болезненна. Она ещё хорошо борется с болью. Иной мужик уже бы давно в голос орал. Она лежит спокойно. Только глядит. Глядит на меня синим небом. И хрипит.

За спиной затарахтела машина. Госпитальный грузовик приехал. Великолепно. Сейчас мы всех живых в кузов загрузим и домой повезём. Вот как, я уже госпиталь домом называю. А что, и правда, это нам всем дом родной. Пока война идёт. А что после войны грянет, мы не знаем. Никто. И мы все тут не пророки. Не видим будущее. А зачем его видеть? Живи себе и живи. Или умирай. Третьего не дано.

Мотор заглох. Я молча махнул рукой.

Я уже не мог говорить.

Она всё лежала и смотрела на меня. Дышала с подхрипом, громко.

Её синие, широко распахнутые глаза светились. Так глаза у женщины светятся в любви.

Мы перетаскали в госпиталь всех живых. Среди мёртвых, возможно, были живые. Я тщательно прощупывал пульсацию сонной артерии. Я не мог ошибиться. Верил себе. А надо было не верить. Пока грузовик колыхался, перевоза раненых к нам, я сидел в кузове рядом с ней. Держал её за руку, якобы шупая пульс. На самом деле мне просто хотелось, ну вот хотелось держать её за руку. А потом, я просто сразу бы почувство-

вал, когда она умирает. По исчезающему теплу руки. Я не знал, чувствует ли она мою руку или нет. Закрыла глаза. Синева провалилась внутрь её существа. Дышала. Я видел, грудь поднимается. Может, она потеряла сознание. Тогда дело плохо. Я хотел потрепать, побить ее ладонью по щеке, чтобы она открыла глаза. Побоялся. Вдруг не откроет. Ну что ж, похороним неподалеку от госпиталя, там мы организовали походное госпитальное кладбище. И много уже людей там лежит. В земле. Под землёй.

Грузовик подскакивал на сухих кочках, на россыпях камней, обломках угля. Эта земля всю жизнь давала Родине угля. Даёшь уголь! У нас в школе висели такие плакаты. Если врага выгоним, ещё угля даст. Даёшь выгнать врага! Раздавить гадину!

Я держал, держал её руку. Сжимал. Всё крепче. Всё обречённой.

И чудо случилось. Она ответила мне на моё крепкое, отчаянное пожатие. Пальцы шевельнулись, сжались. Она сжимала рукой мою руку. Тёплая рука. Живая. Живая.

Мы уже подъезжали к воротам госпиталя, когда она опять открыла глаза.

Я окунулся в их невозможную синеву и громко, хрипло выдохнул.

Потом опять вдохнул, захлебнулся холодным воздухом.

Радостью захлебнулся.

В операционную я нёс её на руках.

Она была совсем не тяжёлой. Я даже удивился.

И сам я сделался лёгким, будто не весил ничего.

Санитары волокли других раненых. На машине из соседнего, вверх по реке, госпиталя приехали ещё врачи. Голодные, просили поесть. Я рывкнул: сначала оперируем! Оперировали везде, где можно было. Клали раненых на топчаны, на диваны, просто на доски, на обеденные столы в госпитальной столовой. Скальпелей наших не хватало, да врачи догадались, с собой привезли. И новокаин, и бутылку чистого спирта, девяносто шесть градусов, и морфий, и йод, и анальгин в ампулах, и иглы, и кетгут, и все такое. Богатые эти врачи были, в сравнении с нами. Мы-то повыветрялись. Рядом с нами кровопролитные бои как раз и шли.

Верхняя брыжеечная вена. Кровит. Зажим! Сестра отличная, быстрее меня обо всём догадывается. Всё видит. Это я уже слепой. Остановить кровотечение! Важнее сейчас ничего нет. Острое рассечение по белой линии живота. Так. Добавляем правый подреберный разрез. Нужно обнажить печень. Так сподручнее. Я должен печень видеть. Дёргается! Лежи, душенька, ежи.

Лежи спокойно.

Двенадцатиперстная. Ранения! Всё пробито. Вынимаю осколки. Иссекаю ткани кишки. Пот течёт со лба на брови, глаза и щёки. Дотекает до маски, ловлю пот губами. Сестра! Промакните! Оля! Я Даша. Наплевать! Я ослепну. Да нет, вижу я, вижу. Не бойтесь. Не промахнусь.

Я вижу осколки. Их страшно много. Их тьма. Они торчат везде. В желудочно-ободочной связке, в сальнике. Вскрыл брюшину. Всё кровит! Тампонада! Пережмите аорту! Чуть ниже диафрагмы! Да! Здесь! Я пережала, Николай Петрович. Печень цела?! Это чудо! Это же чудо! При такой россыпи осколков! Это невозможно. Ого-го, да тут перфорации тонкой кишки, не только толстой. Не счесть. Не могу понять. Она ещё жива! Она живёт! Но это невозможно. Так не бывает!

Бывает, не бывает, всё равно.

Душенька, Дульсинея Тобосская, княгиня Ольга, Кармен, кастаньеты, старые доспехи, ржавое копье. Звенят ожерелья, звенит монисто. Далеко бомбят, и стёкла в окнах звенят. Я вытаскиваю осколки и бросаю, вытаскиваю и бросаю в таз, они звенят, я быстро делаю резекцию, она ведь лежит под общей анестезией, не под местной, с таким ранением только маска и хлороформ, никакой эфир тут не подействует, с ним возни не оберёшься, долго надо ждать, пока...

Надо шить. Ушивать. Крепче. Можно ушить фасцию. Нужно? А если внутрибрюшная гипертензия? Опять разрез? Ну уж нет. Ты молодая! Слышишь, молодая! На тебе все заживёт, как на собаке! Организм полон сил!

Что ты врешь. Ей и сам себе. Война, голод, недоедание, долгая страшная зима, она ослабла вусмерть. Зачем, куда она ехала в санитарном поезде? Эх, да она, должно быть, санитар-инструктор. Эх я дурак. Не догадался. Это её родные больные вокруг неё, на насыпи, на шпалах — мёртвые валялись.

Рядом с нами стояла маленькая девочка, бе-

лые коски враслопырку по плечам, лоб красным платком перехвачен, узел на затылке. Она нам помогала. Высоко, и как только руки не устали, держала тусклую лампу в зеркальной полусфере. Электрический шнур висел далеко к окну, к неисправной розетке. Девочка неуклюже дернула шнуром, вилка вывалилась из розетки, и свет погас. В ночном полумраке, пока девочка возилась с вилкой и розеткой, при свете Луны в голое окно без штор, я заканчивал операцию. Сестра всхлипывала, я слышал. Не реагировал. Бабы всегда плачут. Им только дай поплакать.

Иглу! Кетгут!

Лампа загорелась, отражалась в увеличительном зеркале, девочка опять высоко подняла её. Да будет свет! Лицо моё опять заливал пот. Уж лучше бы слёзы. Пот, слёзы, соль, кровь, полный набор удовольствий. Как бы умоленные сказали: страдания это испытания, их посылает Господь. Мы ему покажем такого Господа, врагу! Сотрём в порошок! И поминай как звали. И никакому Господу не помолится.

Я отшагнул от стола. Сорвал маску, насквозь солёную. Отвернулся. Даша или там Оля, чёрт знает, приблизилась ко мне и чистой маской, из кармана добыла, заботливо обтёрла мне сумасшедшее лицо. Я дошёл до двери операционной и оглянулся. Больная лежала не шевелясь. Ноги вытянуты. Укрыта простынёй, от подбородка до щиколоток. Из-под простынки ступни торчат. Хорошо, не вывернуты, как обычно у мертвецов. Жива. Ещё жива.

Я вышел и пошёл по тёмному, безглазому ночному коридору, и повторял: живи, живи.

К утру прооперировали всех. С ног валились. Спали все, и гости и наши, на полу в столовой. Туманно и дразняще пахло пригорелой кашей.

Я не зря понадеялся на молодую женскую силу. Моя больная оклемалась. Выздоровливала. Я приходил в палату, окидывал взглядом чужие койки, подходил к её койке. Она делала вид, что спала.

— Не притворяйтесь. Зачем глаза закрыли?

Открывала глаза. Синева смея! Глаза смеялись, счастливо, захлёбно.

— Отдыхаю.

— Как себя чувствуем?

— Мы? — Она смеялась надо мной. — Мы с вами чувствуем себя хорошо. Прекрасно!

Я улыбался, хотя мне хотелось взвыть. На днях должна прийти машина из города. Всех выздоравливающих в город увезут. От нас. От меня. Навек. Навсегда.

Навсегда, что за глупое слово. Неужели бывает навсегда? В мире же нет ничего навсегда. Всё временно. И время само временно. Ничего вечного нет.

— Вот и прекрасно. Давайте я вас осмотрю. Не больно было снимать швы?

— Нет.

Она улыбалась. Душенька.

Я откидывал одеяло. Мял её живот. Она хотела ахать, может, и стонать, но не ахала и не стонала. Душенька! Дульсиня! Хабанера! Сегидилья! Русая Кармен! Ты знаешь, я люблю тебя!

— Я...

Не хватало здесь, возле койки мною прооперированной больной, спятить с ума.

Я пытался представить себе её тело, безобразно распахнутое осколками, кроващие внутренности, пульсирующий кишечник, брыжейку, сальник. А видел, видел её душу.

И, кажется, даже целовал её. Душой.

К чёрту! Какая, к чёрту, у человека душа?! Я просто от этой войны умом тронулся! И у меня просто очень давно не было женщины! И я же не могу с ней переспать, с этой...

Я вытирал потной ладонью потное лицо. Выдёргивал из кармана маску и спешно напяливал, чтобы она не увидела моего позора, крупными буквами на лице написанного: Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

Жаль, я не ношу очки! А то бы и наглые глаза хоть немного стёклами были прикрыты.

Я выпрямлялся. Напускал на себя строгий вид.

— У вас аппетит есть?

— Есть. И ещё какой!

— Вас больше не тошнило, как после наркоза?

— Нет! И не рвало! Я бы съела быка!

Тореадор, смелее в бой. Тореадор. Тореадор.

— Мяса жареного у нас нет, это редкость. Если мясо привозят, мы его мелко режем и кладем в похлёбку. А чего бы поели? Скажите, может быть, мы...

— Сушёных фруктов! Чернослив... курягу... размочить только, чтобы мягкие...

— Отлично! У нас на кухне есть мешочек сухоф-

руктов, мы из него варим больным компот. По праздникам. Считайте, у нас праздник! Я велю сварить компот! Для вас!

Синий, птичий смех грядущей весны.

— Зачем для меня? Для меня одной? Для всех!

— Хорошо. Для всех.

— А мне один стаканчик.

— Один. Стаканчик. Хорошо.

Больные, кто мог смотреть, на нас смотрели.

Они всё лучше нас понимали.

ФРЕСКА ВТОРАЯ. ЮЖНАЯ СТЕНА

АЛЕКСЕЙ

Леса, тайга. Человек это медведь. Он родом из тайги. Его чудом не подстрелили. Он ушёл, сминая лапами бурелом, страшно ревел, зализывал раны, зализывал прошлое. Вот ещё один затерянный в тайге пряничный городок призрачно восстал из слоёных снегов. Меня здесь не в тюрьму определили — Бог дал роздых от решёток и прочных замков: меня поселили в чернобрёвенный тёплый, щедро натопленный дом, там в каждой комнате, и в гостиной, и в столовой, и в кухне, и в каждой спальне печка ютилась. В кухне — громадная русская печь, в таких печах раньше крестьяне мылись; в других комнатах — голландки и подтопки. И все хозяин исправно топил. Рано утром, ещё затемно, растапливал. Я блаженствовал в тепле. Чувствовал себя царём в тереме. Предложил хозяину: давайте я у вас Литургию буду служить? В гостиной! А впрочем, где хотите. Где скажете.

Хозяин, крепкий старик, плечи шире слуги, погладил смоляную кудрявую бороду: да ведь я старовер, мил человек. Раскольник я. По-старому крещусь, по-старому молюсь. Два перста священные, наибольший чуть согнут, смирение это пред Господом, а три, наименьшие, и одинокий, наисильнейший, вот они-то слагаются во истинную и неделимую Троицу. Вашими троеперстиями сами себя презренно, торопливо солите, аки осетра на зиму. А вашему Никону завсегда проклятья посылаем! Нет у Бога ни староверов, ни новозаветов, ни иновозаветов, тихо сказал я. Креститесь как хотите. А только Литургия Иоанна Златоуста она и есть

Литургия Иоанна Златоуста. И делу конец. Никто её не переписывал с четвёртого века, никто на кострах не сжигал. Хотя, может, кто-то и хотел. Да не смог. Молитесь со мной, рядом вставайте! Христос и Тот на Голгофе грешника простил. Если мы возлюбим друг друга, а не возненавидим, точно в Раю будем!

Так получил я разрешение служить. И совершал Литургию Иоанна Златоуста и Василия Великого и Всенощное бдение. Вместо диакона у нас была диаконисса, престарелая супруга хозяина, старше его на много лет; я думал сначала, это мать его.

Из снега, вьюги и тумана на пороге, в клубах пара, как конь, явился ко мне старик монах; он попросил рукоположить его во иеромонаха. Глядел на меня, глаза расширив.

— Что ты так смотришь, отче?

Монах прикрыл глаза морщинистыми тяжёлыми веками.

— Я вас во сне видел. Такого, как вы есть.

— Во сне? Да разве это диво? Нам всем снятся сны.

— Но я видел вас, вас.

Я вынужден был согласиться.

Литургию служил, за Литургией старика во иеромонахи рукоположил. Передаётся огонь веков. Мы никто не знаем, как и кому мы будем огонь передавать; но кому назначено его нести, тот несёт, из рук не выпускает. Сейчас тюрьма казалась мне сном. И, как во сне, творил я, следом за Литургией, тяжелейшую операцию врождённой катаракты трём мальчикам, слепой тройне, и они прозрели, и мать их бросалась передо мной на колени, ползла за мной на животе и целовала край моей рясы. Я клал руку ей на голову и плакал вместе с ней. Мальчики, после того, как я снял повязки, сидели на кровати и жмурились. Им больно было посмотреть на свет. Когда зрительный нерв привык к освещению, они открыли глаза. И все трое враз, хором, закричали.

Кричали безостановочно! От радости.

Потом умолкли.

Колени мои подогнулись, и я сел на койку в палате, поблизости от прозревших, и сидел молча, без сил. А мать мальчиков сидела передо мной на полу, как Мария, скрестив ноги, во время оно смиренно сидела перед Христом, пока Марфа на кухне хлопотала, и всё подносила по-

дол рясы моей к губам, и всё целовала, и рясой моей слёзы себе вытирала.

Ряса моя больше не пребывала измызанной: в том староверском чернобрёвном, приземистом и мощном, как спящий в берлоге медведь, доме я впервые, за всё время долгого путешествия, её выстирал, старовер мне дал лохань и лазурное мыло, и я стирал рясу тщательно, старательнее любой бабы, так долго, что она под ладонями моими начала разлезаться в дыры, и тогда я остановился, выжал её и развесил во дворе, на морозе, и она замёрзла и встала колом, и сделалась твёрдой, как огромный вяленый таймень.

В том доме, того бородатого могучного старовера, мне пришлось видение. Я уж привык к тому, что вижу то, чего видеть нельзя. Лег спать. Старовер стелил мне, по моей просьбе, не в комнате, а в сенцах. Там стоял ночной холод, и я укрывался, кроме одеяла, ещё и овечьим тулупом. Изобильная овечья шерсть хорошо согревала меня. Иногда я боялся ночи, иногда нет. Именно ночью приходили видения. Сначала я боролся с ними. Не хотел видеть; не хотел знать. Потом перестал восставать. Принял всё происходящее. Смирился.

Смирение и терпение. Вот что главное.

Так работает Дух, дитя мое. Дух в тебе, но он превыше тебя. Это ты пришишь к Нему, Параклету Утешителю, прочными стежками, а не он к тебе. Помни это.

Закрыв я глаза, натянул овечью шкуру себе на голову. Стал дышать внутрь тулупа. Согревался. Потом башку выпростал. Дышал холодом. Наслаждение, когда сам весь в тепле, а дышишь лёгким морозцем. Иней затянул стёкла. Крохотные оконца синё, лазуритово переливались, по ним медленно бродили ледяные хвощи, зимние васильки и колокольчики. Я уже прочитал вечернее правило, но захотел ещё помолиться. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного... Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас...

И только хотел сказать: аминь, — увидел.

Широкий, льдиной плывущий по невидимой реке, стол. Стол-ладья. Стол-корабль. Деревянная палуба чуть накренилась. За столом люди сидят. Много людей. Невозможно сосчитать. Ползут вдаль и вбок, расширяются края стола. Люди

появляются из ничего, из плотной тьмы. Садятся за стол, стоят за спинами сидящих. Тех, кому повезло. Люди едят. Наливают из бутылей в разномастные сосуды и пьют. Кто сидит на полу, у ног пирующих, и играет на неведомых музыкальных инструментах; я вижу, как пальцы перебирают струны, я слышу непонятную, никогда мною не слыханную музыку. Стол завален едой и питьем, фрукты горят драгоценно, жареное мясо вспыхивает золотой корочкой, сок течёт на серебряное блюдо из разрезанных лимонов, апельсинов. А вот ломти ветчины. А вон огромная миска с ягодами, земляника, черника! Яйца навалены белой горой! Пирог плывет сдобными крупными рыбами. Осетр возлежит, бревном в полстола, острые костяные наросты, морда узкая, острая, и зелень из неё пучком торчит. Рубины икры, и витая царская ложка воткнута! Слитки масла, только с мороза, застылого! Себе, внутри видения, шепчу: может, это я просто жрать хочу, голоден я, вот и привидится всякое. Красное вино мерцает в бокалах. Вино зря сравнивают с кровью. Кровь непрозрачна. Прозрачна только слеза. Кровавая слеза. Человек сидит по центру стола, по правую руку его сидит красавица. Глаз не отвести. Русые толстые косы; одна за спину закинута, другая перекинута на грудь и распущена. Глазами косит вниз и вбок. Нежная улыбка. Молчит. У главного человека за праздничным столом тоже струятся по плечам длинные волосы. Он не глядит на женщину праворучь, глядит вперёд. Нет. Он глядит в себя. Внутрь.

И я понимаю: этот человек — не человек. Он — Время.

Он глядит внутрь себя, а потом веки его вздрагивают, и внезапно он начинает глядеть внутрь меня.

Мне от этого взгляда страшно. И в то же время счастье, нет ему предела, обнимает меня. Спаситель! Ты ли это! Сотрапезничаю ли я с Тобой, пусть даже так, во сне! Руки человека раскинуты, на столе лежат, брошены двумя кусками хлеба, струятся по столу смуглой водой, две смертные дрожащие реки. Бессмертные! Женщина рядом с ним медленно поднимает глаза, в меня двумя безумными птицами летит забытая синева. Синь, праздник! Живого можно убить, и глаза сомкнутся навсегда. До Страшного Суда. Руки Господа раскинуты по столу, Он предлагает нам,

мне присоединиться к пиру. Поешь, смертный! Всё так красиво! Всё так ярко и вкусно! Жизнь, наслаждение! Радость! Видишь, в застолье не только ученики Мои, но и народ, Мне неведомый, числом великий, его Я не знаю, но вижу, и он Меня не знает, забыл, но Я вижу здесь тебя, верный слуга Мой, и не робей, угостись! Еда людская — еда Божия! Я учил о хлебе и вине, о плоти и крови Моей, а гляди, какое изобилие, сколько здесь удивления, изумления, сколько незримого и несказуемого! Вкуси! Иной век! Я превратился во Время. Измеряй Мною течение общей реки, если сможешь, осмелишься измерить. И понимаю одно: мы тут пируем, а там, куда Я гляжу неотступно, идёт война.

Идёт война!

Зимняя. Летняя. Вечная.

Вижу: все жадно едят богатые яства, а Господь и женщина близ Него вкушают лишь хлеб и отпивают из хрустальных бокалов лишь красное вино. Женщина отламывает от лепешки тонкими пальцами маленькие куски, прежде чем съесть, держит на ладони, как живую птицу. Господь не глядит на неё. Он глядит вперёд. Он, не видя, находит на столе бутылку с вином, не глядя, в сосуд наливает. Я пытаюсь поймать Его взгляд. Вот опять Он смотрит внутрь меня и сквозь меня. Навылет.

Его смерть ещё только будет? Она впереди? Или Он уже воскрес, и я вижу пир Второго Пришествия? Губы Его сомкнуты, глаза закрываются, и я слышу Его голос внутри себя: **ЭТО НЕ ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ ЭТО БРАЧНАЯ ВЕЧЕРЯ ЭТО ПРАЗДНИК ВЕЛИКИЙ**

Кричу Ему безмолвно: понял, Господи, Пасха это Твоя, Ты воскрес нынче!

Я ВОСКРЕС НАВСЕГДА Я ВЕЗДЕ И ВСЮДУ ЭТО БРАЧНАЯ ВЕЧЕРЯ

Женщина не глядит на Него. Она глядит на меня.

Зачем она глядит на меня?

ЭТО ПРАЗДНИК ТВОЙ ТВОЯ БРАЧНАЯ ВЕЧЕРЯ ТВОЯ ЭТО СВАДЬБА Я СЕГОДНЯ ТВОЙ ГОСТЬ НА ВЕЛИКОЙ СВАДЬБЕ ТВОЕЙ

Я в смятении. Моя? Зачем? С кем? С ней? Синеглазой? Синие глаза летят в меня, а стол вдруг всплывает из тьмы, надвигается, укрупняется, айсбергом синим, камчатным поднимается из глубин страдания, еле несёт на себе, на своем за-

ботливом горбе, тяжелые россыпи невиданной, роскошной снеди, плывёт, белый ледяной кит, и не удерживает искусных блюд, валятся медные тарелки с Райскими мандаринами и Райскими яблоками, падает и в брызги разбивается драгоценный фарфор с темной свежатиной-дичью, жареными зайцами и куропатками, бешенствуя, валятся и весело катятся прочь дыни, сливы и турмалины вишен, и пироги, пироги, что так долго стряпали бедные бабы, засаживая их на противнях в печь и отирая ладонями со лба трудовой пот, ещё теплые, как бабье тело, пироги разлетаются сдобными лебедями по трапезной, а стены исчезают, и вместо них над столом, над сотрапезниками поднимается небо, оно всё выше и выше, оно уходит вдаль и вверх, всё вверх и вверх, оно не падает, оно растёт, как синий ствол, синяя нежная крона, вся в золотых звёздных искрах, и увлекает нас за собой, наши глаза и руки, наши пострадавшие души, они тянутся за небом, мы тянемся, мы хотим там — жить!

Мы — здесь хотим жить!

Господи! Остави нам живот наш!

И это моя свадьба! Моя, Он сказал! С кем?! С кем?!

Где, Господи, невеста моя?!

И тогда Он поднял обе руки и обернул их ко мне ладонями.

И я смотрел, и на каждой ладони Его я видел лик невесты своей.

И я узнал её.

И я перевел глаза свои на лицо женщины, что сидела праворуч от Господа моего.

А она тихо улыбалась и все отщипывала, отламывала крохи от подгорелой лепешки, похожей на круглую печальную Луну.

Не Иоанн ли это, ученик Твой любимый, Господи? Не Магдалина ли это, любимая ученица Твоя? Не пришедшая ли это нищая дева, что поступалась сюда, в трапезную, пришедши с улицы, желая заработать медный грош и предлагая себя трудницей после окончания могучего пира? Посуду перемыть... объедки на задворки выбросить... кошкам, собакам...

ГЛЯДИ КАКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ НА НЕЙ НА НЕВЕСТЕ ТВОЕЙ

Я глядел один миг, а мне казалось, века, и запомнил. Камни. Простые камни. Дыры в них просверлены, и на веревку они нанизаны.

Камни. Белые камни. Дыры в них не человек просверлил. Нет. Ветер, море. Солёная вода.

Ветер. За столом поднялся ветер. Он налетел ниоткуда. Мял и крутил одежды. Рвал волосы. Бил людей по щекам. Скидывал с гладкой льдины стола всё, что там ещё оставалось, что возвышалось и сияло, маня, притягивая, соблазняя. Ветер резко сорвал со стола скатерть, уже там и сям заляпанную вином, и стол обнажился, стал голым, как тогда, когда мастер только что сработал его, и вышел он из рук сурового плотника, как он есть — неоструганный, нагой, свежий, шершавый, в живую ладонь втыкающий занозы, резко и свежо пахнувший вчера ещё живым деревом. Люди со страху попадали на пол. Закрыли затылки, уши, лица руками. Заползли под стол, в его спасительную тень. Возник и усиливался вой. Это ветер выл? Это люди выли? Ветер выл волком, а люди вторили ему. Люди, внутри страха, звучали убитой, забытой природой: их голоса потеряли сиюминутные слова, о, где же ты, Сыне и Слове Божий? Я воззрился на невесту мою. Я увидел: её одежды есть зеркало. Они отражают одежды Господа. Только всё перевернуто; во Вселенной всё так и летит, падает, а значит, воздымается, взлетает, нет, валится в пропасть, рождается, нет, умирает, умирает, нет, Господи, рождается в жизнь Иную, в Иномирие, да будет тебе, страдалец, отныне утешение: Второе Пришествие грядёт, верь, но Старый Мирь при этом уйдёт, умрёт, и небеса, вспомни огненное Иоанново пророчество, совыются в свиток.

Господь все ещё Царём сидел за столом в синем небесном хитоне и в красном плаще, а невеста моя, имени я не ведал её, сидела праворуч Его в алом кровавом хитоне и в синем плаще. Синева её плаща слепила мне глаза; вот ещё тогда, девочка моя, я понял, я узнал, что ослепну и перестану видеть Мирь Божий. И тут же, маловерный, сказал себе: да нет, никогда я не ослепну! Господь зла не попустит! Он навсегда, насовсем оставит мне зрение моё, чтобы я и впредь оперировал, от верной смерти людей спасал! Господи! А может! Может! Если я так ясно вижу будущее, и своё, и других! Может быть! В виде ещё одного чуда Твоего! Ты! Сделаешь так! Что я! Именно я! Никогда! Не...

Я не успел додумать. С полу вскочил лежащий. Гладко выбритый. В белой врачебной маске. Он

взбросил руку и протянул вперёд. Вытянул указательный палец. Перед лицом моей невесты. Он прокалывал пальцем туманный воздух, клубящийся вихрь. Я проследил за живой указкой. Палец человека в маске показывал на лик Господа моего. Палец, живой нож. Пальцем можно разрезать, проколоть, если скальпеля нет. Чудо? Да разве Господь не совершает чудеса каждый день, каждый миг? По вере вашей возрадуются вам.

Я встал с лавки. Овечий тулуп, за ним одеяло сползли с меня и упали на выставшие за ночь половицы. Я видел: колени моей невесты укрыты точно таким же овечьим тулупом. Значит ли это, что она встала из-за стола, шагнула вперед, наклонилась и подобрала с пола мой тулуп, и укутала себе замёрзшие на ветру ноги? Босые ноги, босые. Они жалко и умиленно торчали из-под мощной шкуры. Господь встал легко и быстро. Улыбнулся светло. Легко толкнул рукой стол, и он упал, перевернулся, покатылся вниз по земным ступеням. А их обоих, Господа моего и невесту мою, обступало небо. Оно наливалось чистой синью. А глаза невесты моей наливались слезами. Она смотрела на меня неотступно, не мигая, и глаза её всё полнились слезами, и наконец слёзы выкатились и тихо потекли по щекам, по подбородку, по шее, затекали за ворот красного хитона, пропитанного кровью всех раненых, всех, кого я когда-либо на земле оперировал, и я чуть не закричал от великой боли, меня крепко обнявшей, и от великой радости, видеть их, любимых, созерцать, пока ещё лицезреть, пока ещё смеяться и плакать вместе с ними, пока ещё перевернутый стол, крича сломанными деревянными ногами и деревянным ртом, бедною льдиной уплывает вниз по реке, пока небо набрасывает им, любимым, на плечи свой синий ветхий хитон, свои овечьи, нежные, шерстяные, тёплые облака.

Я проснулся. Меня трясло от холода. Лежал голый. Потянулся, поднял с пола тулуп, одеяло, накрылся с головой. Дышал под одеялом и так согрелся.

Мне приснилось: я опять на войне. Да враг говорит не по-вражески, а по-русски. Не иноземец он, а славянин. Я понимаю, знаю: война наша не на жизнь, а на смерть, и я должен его убить. Стихи тут ходили по рукам, в списках: сколько раз увидишь врага, столько раз его и убей! Меня но-

вые враги захватили в плен. Поставили в квадратном каменном колодце, наподобие того, где мы тоскливо гуляли в тюрьме, заплатка василькового неба моталась высоко над головой, и приказали: стой! И смотри.

Иди и смотри, вспомнил я Откровение св. Иоанна Богослова, писанное им на острове Патмос в Эгейском море. То я был, я, воистину, тогда я был Иоанном, Христа любимым учеником, и вороньим пером процарапывал на пергамене страшные письма, да, взрезал скальпелем птичьего пера крошечный ужас Мира, потрудись, хирург, работёнка не из легких. Я гораздо был на рисование писем, и мастак в лечобе людей, и тела живые разрезал направо и налево, и кромсал, и зашивал, на ста войнах побывал, и вот опять война, она, видать, в грешный Мирь влюблена. Почему и мы, и враги на одном языке кричим? Мы — один народ? Мы — один народ!

Я стоял и смотрел. И думал. Да, мы один народ. Нас разделили. Грубо раскромсали. Раскроили особо острым скальпелем. Да не сшили. Некому было зашивать разрез. И скобы не накладывали, и бинтами не обматывали. Рана выворачивалась наружу. Земля орала. Люди блажили, стонали и ревели. Хрипели. Выгибались коромыслом, умирая. Умирали. А я стоял в каменном безглазом дворе, думал и ждал.

Вывели пленных. Пинками уложили на камни. Люди лежали на животах, изгибали шеи, пытаясь рассмотреть мучителей. Их пытали. Рубахи в крови. У иных глаза выколоты, кровь сургучными сгустками в глазницах запеклась. Подошёл мужик, рукава выше локтей закатаны. Палач. Пистолет в руке. Шёл и стрелял. Каждому в затылок. Я стоял один у стены, стена сложена из мрачных, грязных, странных синих кирпичей; призрачные синие кирпичи, каждый, светились изнутри светляками преисподней. Я стоял и смотрел. Не отводил глаз. Очень страшно. Сейчас меня. Вот только до последнего святого дойдёт — его убьёт — и ко мне повернётся.

Они все святые. Святые. Все. Кто так погиб, в страданиях, истязаемый. Я себя в святые не записываю. Нельзя о себе так думать. Я просто вижу и запоминаю. Память, вот что приносит мне муки. Память, пытка. Не отогнать, ни сжечь. Всё, что я увидел здесь, навек со мной. Даже если я умру. Я этот расстрел с собой в могилу унесу.

А — месть? А — отомстить?

За моих святых? За родных?

Война — это месть. Так людям понятнее. Война идёт потому, что мы защищаем родной народ и мстим чужому народу за поругание и гибель народа родного.

Но почему, почему мы говорим на одном языке?!

Проснуться, скорее проснуться, шептал я себе, вокруг очень холодно, я в тайге, я внутри зимы, я арестованный, я поселенец, прочь, война, на завтрак староверская семья ест овсяную кашу с постным маслом, и мне тарелку нальют, и я посылаю кашу серой крупной солью и буду зачерпывать из оловянной миски гладко обточенной деревянной ложкой, и дуть на ложку, ох, горячая, и вспоминать страшный полночный сон.

— Ты! Оккупант! Сволочь! Сколько раз увидишь врага, столько раз его и убей!

Палач кричал на чистом русском языке.

Я глядел ему в лицо, он глядел в моё, и мы сверкали собою-зеркалами друг на друга, испепеляя друг друга отражённым огнём.

— Было бы в руках оружие, я бы тебя убил!

Это я крикнул, я. Или он?

Он оскалился и поднял руку с пистолетом.

— Вы! Все! Готовьтесь! Скоро вам будет сюрприз! Подарочек! Нежданчик! Аккурат в годовщину войны! Мы-то помним, когда она началась! И кто её начал! А вы, чую, забыли! Так мы вам напомним! Напомним! Огненный пирог! Будете жрать! Уплетать за обе щеки! До отвала нажрётесь!

— Ты дурень. Не понимаешь ничего. Войну уже не остановить. Мы победим. Это вы будете жрать и огонь, и землю.

— Мы должны вас победить, дряни! У нас другого выхода нет!

Рот пересох. Глотка смёрзлась. Мне нечем было кричать.

— Это мы вас поборем! Раздавим! Под сапогами нашими будете... корчиться...

Всё крепче сжимая рукоять пистолета, аж пальцы посинели, он подходил ко мне.

Или это я подходил к нему.

— Это я тебя сейчас раздавлю! Расстреляю! Уничтожу тебя! И тебя — не будет! Больше! Никогда!

Ствол уперся мне в лоб.

Я ничего не чувствовал. Надо было бояться дальше. А страх исчез.

— Снайпер с такого расстояния не попадет.

— Издеваешься?! Спиной повернись!

— Не повернусь.

У него небритое, синее лицо волнами ненависти вспучилось, взвырвало, уродливо перекошилось.

— Развернись, ну!

Он не мог смотреть мне в глаза.

Хотя глазами мои глаза — искал.

Я это видел.

— Нет. Я хочу видеть.

— Что видеть, будь ты проклят!

— Всё.

— Что — всё?!

— Как ты меня расстреляешь. Но ты меня не расстреляешь.

— Что мелешь!

— Я знаю.

— Что ты знаешь, ублюдок!

— Я вижу.

— Что — видишь?!

Я смотрел вглубь его бешено расширяющихся, ледяно сужающихся зрачков. Зрачки бились внутри радужки, играли, раздувались и опадали. Превращались в чёрные иглы. Прокалывали меня насквозь. Опять взрывались непроглядной тьмой.

— Всё.

— Всё, всё... всё!..

Я глубоко вздохнул. Хотел сказать палачу: всё необратимо. И мы врага нисколько не боимся. И мы не допустим ни капитуляции, ни рабства, ни казни на виду у всего Мира, ни наказания, ни блокады. Ничего этого не будет. Никогда. А будет наша победа. Только победа.

— Будет наша победа! Только победа! — крикнул он, и я близко видел его красную волчью пасть и красный дрожащий язык меж зубов.

— Разбей меня. Я твоё зеркало, — тихо сказал я.

Он судорожно ощупывал глазами моё лицо, мой рот, сказавший это.

— Да что ты... брешешь...

— Что слышал. Убей скорее! Гляди, — я показал рукой на мёртвых, лежавших ничком на камнях, — они уже тебе слова не скажут. И они уже тебя не победят.

Он ухмыльнулся. Я видел, он мелко дрожит.

— Но придут другие. Много других. Их много. У

нас воюет вся страна. Вы называете нас тюрьмой. Но весь народ, все, кто на свободе и кто в тюрьме, идут на войну. С вами. С тобой. И завтра сюда придут и убьют тебя. И всех вас, кто мучит, пытается, казнит. Слышишь?

— Заткнись!

Он всё ещё стоял, надавливая стволом мне на голый лоб.

— Не веришь? Так и будет. Я вижу!

Он устал так стоять. Выругался, зашёл ко мне за спину и приставил пистолет к моему затылку.

— Сдохни!

Раздался щёлк. Я понял: осечка. Я это знал.

Я обернулся мгновенно. Выбил пистолет у него из руки. Мы боролись, повалились на каменные плиты, катались между трупами. Вбежали солдаты, навели на нас оружие. Выжидали удобный момент, чтобы можно было меня застрелить без вреда для их товарища.

Высоко в небесах завывало, засвистело. Снаряд упал прямо во двор, поодаль от нас, разорвался, я оглох, контузило; палач расцепил руки. Его подначальные солдаты все полегли. Кто погиб сразу, кто ещё стонал, полз по камням, подвывал зверем. Глухота медленно меня покидала. Я слышал взрывы: вблизи и вдалеке. Грохот: рушились дома. Пыль забила мне глотку. Не мог дышать. Отполз от мертвецов. Приказывал себе: проснись, ты уже всё, что надо, увидел.

Разлепил глаза. Вокруг меня мерцало, тлело всё то же самое. Синий двор. Светляки полоумных огней. Убитые лежат вокруг. Я стою. Всё настоящее. Сна нет. Сон во сне. Жизнь в жизни. Зеркало в зеркале. Смерть в смерти. Я не могу из неё выйти. Выхода нет. Надо предоставить Времени свободу. Пусть оно течёт само. Само себя вдаль несёт. Может, и меня на хребте вынесет. Я не знаю, что мне делать. Я не могу бороться с настоящим. Я даже не могу их всех оживить. Я не Господь. Я только врач. Хирург. И ни инструмента. Ни скальпеля. Ни корнцанга. Ни иглы. Мне горько. Слишком темно. Глубокая ночь. Мировая ночь. И только свет, свет у тебя в руках. Светятся ладони. Я вижу, от них идёт постоянный, очень слабый, еле различимый свет. Вокруг холод, а от ладоней идёт тепло. Прислоню ладони к убитому. Буду так держать. Я понимаю, мои ладони не компресс и даже не грелка. Так, чужая живая плоть, прислоненная к мёртвому телу на жалкий

миг. Тело меня не чувствует, не видит и не слышит. А душа?

Где ты, где ты, душа?

Душенька...

Глаза закрыл, и всплыли передо мной, две чудесные синие рыбы из глубин враждебного бурного океана, светлые небесные глаза. Очи. Широко стоят, как у коровы. Тихо и ровно горят. Две синие свечи. Опять она. Зачем ты на войне? Пришла меня утешать?

Душенька...

Под синим взором я начал ровнее дышать, сердце билось тихо, спокойно, от ладоней тепло потекло вверх, к локтям и плечам, скоро всё дрожащее тело оделось теплом, я закутался в моё тепло, как в бараний кудрявую шкуру, мне старовёр подарил бараний полушубок, и я в сильные морозы мог по улицам свободно ходить, угретый, и больных спасать, больных тут, в таёжном городишке, было, как везде и всюду, навалом, мой хирургический стол дымился, то одно тело, то другое, то одна живая душа, то другая мечется, стонет и скорбит, и я ей помогаю, она то выходит из тела, то входит в него опять, не покидает, ещё хочет побыть, пожить в этом тёплом доме, у бешеной горячей печи сердца, у очага кроветворной печени, ещё неохота ей на волю, в сиротство, не боясь сиротства, говорит тебе Бог, оно дано тебе как награда, любая мука награда, что на земле, что за её порогом, а каких только операций я тут не делал, и по женским болезням, и свищи зашивал, и пневмоторакс, с чахоточными лёгкими сотворял опасные, на острие смерти, фокусы, и открытые переломы вправлял и сращивал, да разве мыслимо перечесать, любой хирург вам скажет: леплю телеса людские подчас заново, — а душа, люди, где же душа, где она кочует, где ночует, где гнездится, птица? Если бы знать ответ! Синие очи глядели, летели в меня с византийской иконы. А может, с Херувимской-Серафимской фрески, где тёмно-золотой, как густой цветочный мёд, фон, и Оранта поднимает руки ладонями ко мне, и глядит на меня круглыми громадными, величиною с чайное блюдце, синими глазами, и хитон Её кровавый, и плащ Её синий, и спасибо, благодарю Тебя, Царица Небесная, что не оставляешь меня без призора, молчишь и глядишь, приглядываешь за мной; и всё меньше земного моего времени заботу Твою отработать Тебе, и всё больше по-

нимаю я, важнее любви к Живому и постоянно-го, каждодневного воскрешения угасающего, бесконечно умирающего Живого нет у человека, да и у Бога, дела на земле.

НИКОЛАЙ

Я не храбрый. Я не герой.

Я не смог бы в небесах, если бы лётчиком был, пойти на таран.

Так делают только безумцы. Юродивые.

Они себе говорят: моя жизнь ничто, жила бы страна, — идут на смерть.

Бегут прямо в её пасть.

А я знаю: не станет меня, и некому тут будет спасать от осколочных полостных, гипсовать сломанные позвоночники, да просто аппендиксы вовремя вырезать, не доводя больного до септического шока, когда один за другим, поражённые ядом гноя, отказывают все внутренние органы.

Я понимаю: не будет меня, пришлют другого хирурга. Свято место пусто не бывает. Но то, что могу делать я, делаю только я. И никто в мире.

Незаменимых людей нет! Чепуха какая. Есть, конечно. Я не пуп земли. Я это тоже понимаю. Но каждый человек, любящий своё дело, мастер. Вот и я мастер. Мастер плоти. Мастер тела. А кто там толкует про душу... да пусть толкует. Я согласен: имеет право. Душа, это вопрос веры. Верьте, верьте, да однажды проверьте. Выдумка или правда. Правду сразу видно. Она ощутима. В ней всё колется, обжигает, горит, кровит, дышит, замерзает и снова тает, и вспыхивает, и взрывается. Правда жива. А выдумка — выдуманна. Она ещё немного, и ложь. Её не попробуешь на вкус, не выпьешь, не обнимешь. Не заплачешь, к ней лицо прижав. Выдумка, она как сон: посмотрел и забыл.

Я разве выдумал того человека? Он ранен был в бою, и лёг ко мне под нож, и я думал о нём: вот герой. Я оперировал героя. Я тут оперировал многих героев, и нет им числа. Оперировал чётко, быстро, аккуратно, технично, со знанием дела. Иногда глядел на порхание своих резиновых рук над разъятым телом будто со стороны, из-под потолка: эка летают, снуют взад-вперёд, полёт белых ласточек над красным солёным, йод и рыдания, горьким морем. Одна хирургическая сестра,

не помню как звали, увидела кровавые синие, дрожащие потроха, и грянулась в обморок. Ей совали под нос нашатырь, никакой реакции. Шок. Я делал ей внутривенное, вводил магнезию, камфору. Задышала. Лицо кровью налилось. Веки разлепила, меня узнала и от меня отвернулась. Я усладил её навсегда. Мне прислали потом эту, Олю, или как её, Дашу. Эта работает как часы. Иногда я думаю, что она механизм. Нет, стоп, она тоже умеет плакать. Ещё как! Рыдать и выть, и причитывать. Письмо недавно получила, из дома. Видать, кто-то умер. Может, мать. Я под кожу не лезу. Не любопытствую.

Герой мой разрезанный под скальпелем лежит, платок на носу эфиром пропитан, сосуды в зажимах, в стальных бирюльках, и мне невдомёк, что завтра случится, я же не чтец Времени, не провидец. И Время не газета, чтобы его так запросто читать. Но если бы я прочитал! Я бы эту сволочь не только не прооперировал — я бы, клянусь, зарезал его самолично.

А я его, получается, спас.

Для того, чтобы он казнил меня.

Да, вот так всё просто. Вообще всё в жизни крайне просто. Это мы сами на жизнь парчовые тряпки накрутили, нарядили её в горностаевые мантии, в плисовые кафтаны, в рясы, в эти, как их, ризы. Ряса, риза, а в чём отличие? Но я-то, я-то уж отличу жизнь от смерти. Не думал вот, не гадал, а в ловушку горностаев попал. На суде мне залепили: ты иностранный шпион, ты вернул к жизни и вылечил врагов народа. Народ! Где твои враги! И я, я первый твой враг, ведь я столько тебя, народу, спас, не сочтёшь, немерено. А ты, народ, ты что, ищешь убить меня? Да нет, ну что ты, ты добрый! Ты же всё понимаешь, народ! Ты же мне в ножки кланяться будешь, когда...

Когда что?

Я стоял в операционной, вдали ухали разрывы, когда ко мне, презирая стерильность и запрет, вошли эти люди. Трое. В военной форме. Я поглядел на них поверх маски. Молча указал им на дверь. Они громко подтопали ближе к столу, с их сапог кусками отваливалась дорожная грязь. Тот, кто подошёл первым, громко сказал, чеканя слоги: товарищ военврач, вы арестованы. Собирайте вещи, мы ждём. Сестра зажала рот рукой. Крик зажала. Тяжело дышала. Я слышал, как она сопит носом. Я спустил маску на подбородок и

так же отчетливо сказал, глядя Первому прямо в рожу: ордер на арест! Второй, за ним, пошарил в нагрудном кармане и вынул сложенную вчетверо бумагу. Развернул. Тыкал мне в лицо. Читать умеете? Читайте! Больной на столе открыл глаза. Действие эфира кончалось. Он всё слышал. Я посмотрел на него. По лицу его гулял ужас. Я спокойно сказал Второму: сядьте в коридоре и ждите. Я закончу операцию. Сапоги ваши грязны. Извольте выйти.

Я так, по-старинному, и выразился — извольте выйти, не знаю, почему я так сказал. Они, все трое, потопали прочь. Хлобыстнула дверь. Посыпалась штукатурка. У сестры дрожали руки, когда она подавала мне иглу и кетгут. Я шил угрюмо. Я не мог представить, что будет со мной. Ничего не мог себе вообразить. Ну ничегошеньки.

Память человеческая избирательна. Она ложится пластами, слоится, её минирует коварное Время, и вдруг нежная капризная память взрывается незабвенным потрясением, а завтра оно забывается напрочь, и его уже никогда не было; не было, никогда, и всё тут. Привиделось. Причудилось. Ну, так бывает. Человек фантазёр, он тебе выдумает то, чего никогда и нигде не случилось, и выдаст бредовое сновидение за святую правду.

Я сначала помнил мои мытарства, хождение по судам и застенкам, я даже помнил мои побои, и как я, ударенный чужим кулаком наотмашь, с табурета падал; и голодовку помнил, вроде бы я её сначала объявлял, лежал на нарах и ничего не жрал, отказывался от еды, кричал: я хирург! я военный хирург! прошу отправить меня обратно на войну! — а мне в лицо смеялись и опять били меня по лицу, били крепко, с наслаждением. Человек, причиняя боль человеку, наслаждается. Обыкновенный садизм, а что делать. Его ещё никто не отменял. Это нарушение психики, да, и ещё какое. Но я не психиатр. Я хирург. Я лечу тело. Душу пусть лечит другой врач. Как можно вылечить сказку? Исцелить выдумку? Но ведь лечат. Исцеляют. И лекарств целую телегу, для души, фармацевты навывдумывали. Нет. Увольте. Оставьте меня. Нет никакой души. Я уже ничего не помню. Ваша душа ничего не помнит. Слабенькая она оказалась, ваша несчастная душа.

Я сначала всё помнил, я твердил себе: запоми-

най, всё потом всплывёт, всё потом пригодится, ты ничего не забудешь, и они все, мученики, ничего не забудут, мы всё запомним и потом всю правду расскажем. Кому? Кому я, и мы все, смогли бы её рассказать? И нужна ли будет наша правда новым людям? Приходят новые люди, нашей войны им не понять. Они хотели бы повернуть время вспять. Они придут в новых начищенных сапогах, в новых блестящих касках, с новым, через плечо ремень, оружием. Будут метко стрелять. Помчатся друг на друга в новых танках, полетят друг на друга в новых вёртких, ловких истребителях. А врачи? Что будут делать новые врачи? А новые врачи будут, из открытых во тьму и бред, разбитых окон госпиталей, слушать неистовые крики новых солдат: вперёд! Вперёд! Танков волчий ход. Зенитки ищут жертву в небесах. Люди ждут, когда из шахт медленно выползут и полетят на людей ракеты, под завязку набитые взрывным ядом. Убивать, милые, не хватит рук! Смерть будет сама к нам прилетать. Заждались. А вот она. И мы не поймаем её, она слишком быстро будет лететь. Не досчитаешь до трёх. Раз, два...

Три!

...я всё забыл.

А может, мне память отбили. Я не знаю. Теперь мне это трудно объяснить. Я кричал в карцере: я хирург! Я хирург! Я очень, очень умелый, первоклассный хирург! Я вытащу даже приговоренного к смерти из её черных лап! Я дарю жизнь! Если вы будете умирать, я спасу вас! Верьте мне! Верьте! Я правду говорю!

Я кричал, срывал голос, хрипел. Стены молчали.

За стенами, я знал, передвигались, ходили люди. Разговаривали друг с другом. Выходили из здания, опять входили в него. Работали. Били, допрашивали, били. Это была их работа. За неё они получали деньги. Я кричал: это ошибка! Это правда ошибка! Я врач! Мое дело спасать! Я могу спасти убийцу! Преступника! Я же не знаю, кто лежит передо мной на столе и умирает! Я вижу — умирает! Я — оперирую! Это — моё — дело! Слышите! Это... моё...

Стены молчали.

Я замолкал.

Я молчал вместе со стенами. С огромным холдным домом. Вместе с полом и потолком. С замком, он не лязгал, не скрежетал о свободе. Я

закрывал глаза и постепенно всё забывал. Мне становилось хорошо, я замерзал, как в поле зимой, и мне хотелось петь, тихо так петь, неслышно, чтобы слышал песню только я, слышало снежное поле и ещё звёзды. Тихо мурлыкать, напевать. Напевал. Слышу — да, напевает. Кто? Я? Я, я, я? Неужели это я?

Вокруг алмазный снег. И небо всё в алмазах. И эта песня. Зачем она? Зачем я? Может, никакого меня нет? И я замёрз? И где-то одна, на воле, счастливая, гуляет меж наметённых за огромную ночь сугробов нежная, безумная память моя?

Я не слышал, как однажды ключ затархтел в замке. Охранник растолкал меня. Я спал на каменном полу и сам превратился в камень. Руки и ноги у меня окоченели до твёрдости дерева. Я не мог их разогнуть. Не мог идти. Меня поволокли за руки. Пятками я прорезал пол длинного коридора, и с меня свалились башмаки.

Я не помню, босой я впрыгнул в поезд, или на меня кто-то сердобольный натянул обувку. Мне было всё равно. Да, кажется, я так и трясся в поезде босиком, а снаружи поля, города и деревни заметало, мело всё время, пока мы ехали. Ехали и спали. Ехали как спали. Когда спишь, есть неохота. Я слышал голоса: движемся на севера. На севера, повторял я, как песню, на севера. Я часто чувствовал себя собакой, и мне хотелось лечь под ноги людям. Люди рассматривали рваные шрамы у меня на груди, на запястьях и на спине, приподнимая рубаху и цокая языками, дивились, как жестоко меня били. Кто гладил меня по плечу, жалел. Кто ударял кулаком по столу, а потом скрючивался в бессильном рыдании. Так пьяные плачут, беззвучно и бешено, лицо кривя. Я сидел спокойно. Иногда задыхался. Народу в вагоне набилось много, мы сидели, плотно прижавшись боками, и спали сидя, как кильки в консервной банке. Все хотели есть, а мне есть не хотелось. Может, у меня отбили желудок, не знаю. Часто в центре живота возникала сильная боль. Я думал о боли: средостение, травма, ушиб. Или думал так: язва, голод, желудочный сок разъедает стенки желудка, скоро начнутся кровотечения. Вредно так много знать. Но я врач. Я не могу не знать. Мне надо знать о человеке всё. Это моё дело.

Моё. Дело.

Бездельничай теперь, хирург.

Я ещё помнил: я хирург.

Привезли, выгрузили. Холодно, да. Загнали в грузовики. Здесь не бомбили. Шла ли здесь война? Никто не знал. Повезли. Привезли на берег моря. Море серое, цветом в рыбий перламутр, переливается серебристой бедной чешуей, вздрагивает, набегает на берег, тихо шепчет. Прозрачное, слеза. Плачет. Тоскливое. Я наклонился, зачерпнул в горсть воды. Умылся. Солёное. Соль. Слёзы. Я умылся чужими слезами. Боль земли. Я тебя не вылечу никогда. Ты так и будешь болеть. И так же будешь плакать. Без меня. Когда меня не станет.

Повели. Долго расспрашивали, писали в толстые тетрадки. Не били. Хотя, может быть, и хотели. Распределили: тебе туда, тебе сюда. Приплыли серые рыбы-люди. Повели в сарай. Тебе в этот сарай, тебе в тот. Мы входили в сарай, они назывались бараки. Длинные бараки, пустые, как стойла для коней, загон для коров, иного скота. Пола нет, земля, надо спать на земле. Пучками там и сям лежит колючая солома. И здесь не надышишь, не согреешь жалким дыханием морозный воздух: в щели дует ветер, щели забивает метель, уж лучше бы она замела всё, всё на свете, и вместо нашего барака возвышался бы громадный сугроб, и мы все лежали бы там, внутри, и спали бы вечным сном в белом гробу.

Я забыл, как мы переночевали первую ночь. Все сбились в один большой живой стог. Вздрагивали. Стонали, друг другу мешали спать. Вскрикивали. Кто-то плакал страшно, в голос. Я не помню, в сапогах я уже спал, в валенках или босой. А, вспомнил. Я спал в чужих женских носках. В женском вагоне умерла девушка, говорили, красивая, и мне люди передали её носки, самовязку, грубая колючая шерсть, чтобы я мог хоть немного укутать замороженные ноги.

Здесь, в жуткой ледяной ночи, среди прижавшихся друг к другу тел, мы уже были не люди с мыслями, радостями и слезами, но просто тела, одно живое, другое мертвое; надсадно кашляла женщина. Захлёбывалась кашлем. Сначала я подумал: бронхит застарелый, грамотно не лечённый. Потом она стала задыхаться в приступе, и я бормотал сквозь сон: астма, астма, введите адреналин под кожу. Утром, когда человеческий стог распался на множество чуть шевелящихся, страшно молчащих людей, женщина опять за-

кашлялась, зашла в кашле, задыхалась, и я увидел её. С затылка. Из-под потрёпанной волчьей ушанки на плечи выбились и вольно рассыпались по плечам сенные, пшеничные, соломенные волосы. Это толстая русая коса развилась и вырвалась из тюрьмы на свободу.

Женщина ловила ртом воздух. Приподнялась на руках, ладонями упиралась в голую заиндевевшую землю. Умирала от кашля. Я видел её согнутую, горбатую от предсмертного ужаса спину, плечи, укутанные изношенной, едва ли не собачьей, шубенкой. Слепо перешагивая через людей, я добрался до неё. Не видел её лица. А она кашляла. Не оборачивалась. Не видела меня.

Я наклонился и крепко схватил её за плечи. Попытался к себе повернуть.

— Я врач! Обернитесь! Посмотрите на меня! Сейчас я вам помогу!

Ушанка свалилась у неё с головы. Лежала рядом с ней мертвым волчонком.

Человек убивает Живое, чтобы одеть, обуть и накормить себя.

Она упиралась, цеплялась ногтями за живую мрачную землю в иглистых разводах утреннего инея, будто кто землю щедро слезами посолил, а слезыньки-то и застыли на лютном морском холоду; я рвал её к себе, хотел вырвать у смерти, не дать ей, не сейчас, не сегодня. Она разжала пальцы. Ледяная земля набилась ей под ногти. Я повернул её к себе, и она упала мне на руки — так падает на руки любящему любимая. Я подхватил её. Мужской голос рядом изругался коряво. Старухи рядом заохали. Далеко, на краю света, заревел телёнок ребёнка.

Синие глаза ударили в меня.

Я держал на руках жизнь мою. Любовь мою.

Она глядела на меня. Она не потеряла сознания. Кашель застыл на её губах. Мне показалось: её губы покрылись инеем и стали чёрные, цвета голодной земли. Синева из широко раскрытых глаз текла по щекам, ложилась под ресницы, венозным синим током билась под челюстью, на шее.

Я слышал тяжелые хрипы у неё в груди. Так хрипит изношенный, старый баян с дырявыми мехами. Свист и хрип есть, а звука нет.

И адреналина у меня нет. И шприца нет. И спирта нет. И ваты нет. И ничего нет.

А что у меня есть? Я есть.

— Ничего не говорите. Слушайтесь меня.

Её лицо синело все гуще. Удушье. Надо было торопиться.

Я расстегнул шубёнку у неё на груди. Холщовое платье. Где застёжки? Чёрт, на спине! Некогда искать эти чёртовы крючки! Порвать! Быстро! Я рвал тугую холстину, руки обрели чудовищную силу. Люди вокруг глядели на то, что я делаю, и не останавливали меня. Глядели на белое тело женщины. Нагое. Такое близкое. Тёплое? Холодное? После смерти тело превращается в неизвестную материю. Оно уже не живое, и ещё не мертвое. Оно между мирами.

Мои ладони превратились в наждак, в два комка белой сухой овечьей шерсти, в две колких вязаных вареги, в две щётки из волчьего жёсткого меха, и я стал ими тереть это белое молчащее, недвижимое тело, тереть, мутузить, растирать, мять, колоть, и снова вминать, втирать в него мой неистребимый жар, мою волю, мою победу, и бормотал при этом: живи, только живи, только живи, дыши, согревайся, я согрею тебя, я разотру тебя до огня, дыши, дыши, живи, живи, дыши. Ды-ши. Ду-ша.

Душа.

Какая, к чёрту, душа. Тело, давай же, давай, быстро, оживай!

Нагая грудь, ещё вчера красивая, обвислая от голода, торчащие ключицы, решётка рёбер, впадина яремной ямки, круглые кости плеч, всё это плыло, сияло, поднималось, падало и сверкало под моими руками, а я тёр, тёр, будто дыры в сияющем теле хотел протереть, кожа постепенно краснела, разогревалась, женщина судорожно вдохнула холодный воздух и опять закашлялась, и я, в отчаянии, расстегнул мой тулуп и лёг на неё, и сильно, горячо прижал её моим отошальным телом к земле. К земле.

— Грейся... грейся... молчи...

Я сначала шептал бессвязицу, потом замолчал, она раскинула руки, и я положил мои тяжёлые руки поверх её бестелесных рук, холстина завернулась к локтям, запястья жалко торчали из мохнатых раструбов шубёнки, я взял в руки её заледевшие пальцы и сжал, так умирающий сжимает живую руку напоследок, на прощанье. Она чуть пошевелила пальцами, и я понял этот язык. Пальцами она сказала мне: спасибо.

Потом я выпустил из рук её руки и просунул

мои ладони под её спину. Обнял крепко. Под моей грудью дышала женская грудь. Я вспомнил всех моих женщин, у меня не так-то уж и много их было.

— Грейся... грейся...

И тут она взбросила руки и обняла меня.

Так лежали мы на земляном полу барака, крепко обнявшись, и застыли, как выточенные из дерева, нет, высеченные из камня, как памятник самим себе, и женщина тепло дышала мне в лицо, она была изумлена, потрясена, она испугалась, она замерла, она улыбалась, она дрожала, она жила.

И тут дверь барака подалась. Нас никто не запирали на ночь, с наружной стороны не висело никакого замка, не торчала никакая щеколда. Медленно открылась дверь, сколоченная из ветхого горбыля, и вошёл человек.

И никто не посмотрел на него. Все смотрели на нас.

Все молчали.

Спинами, затылками мы видели: вошёл чужак, и кто он? Охранник? Узник? Палач?

Чужак не проходил дальше. Стоял у дверей.

Я не мог обернуться. Я грел телом и жизнью моей мою единственную жизнь.

Зато медленно, елозя затылком по заиндевелой земле, обернула голову она.

Я видел, как синие очи её распахнулись ещё шире.

Я почувал, как тихо, страшно она дрожит.

— Кто это...

Она молчала.

Я перекатился на спину и перекатил женщину из-под моей горячей всетелесной тяжести себе на живот. Она лежала у меня на животе, как огромная белая кошка. Найдёнка. Я её нашёл и больше никому не отдам. Никому.

Её голова бессильно лежала на моём плече. Её глаза глядели на того, кто стоял у двери. Не отрываясь, глядели. Не моргали. Рот приоткрылся, из него вырывались короткие, еле слышные хрипы.

Я проследил за её долгим, как жизнь, взглядом. Увидел.

В открытых в зиму и море дверях стоял новый заключённый. Мой бородатый врач, с ним вместе мы принимали пытку, пленённые врагом, и убежали из-под стражи.

Ну, здравствуй, моя война.

Вот ты и настигла меня.

Я узнал тебя.

Губы бородатого доктора дрогнули; я видел, он узнал меня.

А она? Почему её глаза тоже узнают, знают его?

Кто мы такие друг другу? Все трое?

Стоящий у двери разлепил губы.

Я услышал его тихий голос сквозь подземные хрипы моей больной.

— Ну, здравствуй, моя жизнь.

Кому это он говорил? Мне? Ей?

Я крепче прижал женщину к себе. Её грудь, беспощадно мною растёртая, жарко алела, на скулы взбежала краска. Да, это наша жизнь. Моя, её и его. От неё не отвертись. И не надо ничего забывать. Ничего. Ни шага, ни вздоха, ни побоев, ни насилия, ни оскорблений, ни пыток. Мы не забудем. Мы! Не забудем! Мы! Победим! Врага!

...а что было дальше, я забыл.

АЛЕКСЕЙ

Я записывал в том таёжном городке в толстую тетрадку всех своих больных. Всех, кто являлся ко мне, прося первой либо последней помощи.

Близ городка власти закрыли и разорили женский монастырь. Три послушницы притекли ко мне из того монастыря. Я не мог без слёз слушать их страшные рассказы о том, как монастырь убивали. Как человека. Топорами, штыками, молотками всё били и громили в монастырских храмах. Святые иконы валялись на полу, на них наступали сапогами, и дерево ломалось под сапогом, и краски текли по святому лику, по золотому горнему фону слезами, кровью. Я, чем дольше жил на земле, тем чище и сильнее чувствовал мощь Святого. То, что свято, неподвластно смерти. Да ведь и любовь неподвластна.

А где ваши товарки, монахини где, тихо спросил я послушниц. Они, все три, перекрестились и так стояли, молчали, глаза опустив. У той, что ближе ко мне стояла, слёзы по лицу покатились, крупные. Ничего, я шептал послушницам, ничего, милые, перемелется всё, мука будет, не мука, а мука, настоящая, хлебы будем в печь сажать. Да вкушать. Да Господа за счастье благодарить. Счастье жить, да, но ведь и счастье пострадать за Христа! Послушницы кивали,

молчали и теперь плакали уже все: тихо, неслышно. Так муроточат иконы.

Я их, всех трёх, постриг в монахини. И благословил пребывать монахинями в миру.

Тут приказ пришёл: меня сослать в сельцо Саблино, что на Севере далёко; дальше того сельца и нет ничего, только белая, голая тундра одна. И смерть. И тоска. И ледяной океан, Северный Ледовитый. В приказе стояло: сослать навечно. Я улыбнулся. Ничего вечного под Луною, дитя моё, ведь нет; всё, что именуют вечным, на деле оказывается мгновенным перед лицом Божиим.

В путь на Север мы потекли с тремя новоиспечёнными монахинями. Девочки они ещё были, ну вот как ты, нет, конечно, чуть постарше тебя. Пока ехали, много всего святообрядного совершили: и грешников исповедовали, и покойников погребали по Пасхальному чину, и однажды в селе на берегу Ангары попросили меня обвенчать молодых, ну я и обвенчал. Радость такая, глядеть на счастливые лица новых мужа и жены на земле! Как там сложится их жизнь, один Господь знает; но перед ликом Господа Распятого все наши земные мучения и малые распятия — ничто. Праздник — с Ним, и горе — с ним. И детки, детки пусть у вас с Богом родятся, шептал я обвенчанным, осеняя их широким крестом, сам весь в слезах счастья, и они плакали и целовали мне руки.

И шли да шли вперёд, всё вперёд и вперёд, и плыли по холодной изумрудной Ангаре в смоляных долблёнках; на безумных порогах, проходя их в узких наших лодчонках, громко, на всю реку, молились, и Бог миловал нас и не оставил нас; и причалили к берегу каменистому, подзолистому, гущина тайги нас поразила, тайга стояла зелёной стеною, и вышел навстречу нам олень, и стоял перед нами смело, не убегал. Вдали виднелись крыши. Мы привязали долблёнки к рыбацким кольям на берегу и прибрели в село. Здесь мне пришлось делать операцию катаракты белому-снежному, похожему на белую полярную сову старику. Он уже почти ослеп. Я решил вернуть ему зрение. Старик лег на узкую лиственничную лавку, я достал из мешка железный контейнер с глазными хирургическими инструментами. Монахини привязали старику руки-ноги к лавке. Я действовал быстро, так быстро, что даже задохнулся. Вытащил мутный хрусталик. Старик скрежетал зубами. Я наложил ему повязку на глаз и

прошептал: во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Он поправил меня: во веки веком. Он был старовер, как многие старики в Сибири; и не только старики. Обе веры в тайге уживались, как уживаются звери: волк с лисицей, овца с козою.

И во мне наши веры мирно уживались; иной раз мне казалось, я вышел в наш день из дней Иоанна Грозного, из пустозёрских, во земляном срубе, ночей Аввакума.

Арахна, надменная пряжа, пряла и пряла нескончаемую снежную нить. Я устал следить за пряхей метели, устал засыпать под вой вьюги. И всё же я благословлял труды Вселенской пау-чи, ткачихи Арахны, ибо, среди прочих жизней, пряла она мою жизнь, и ткала всеобщий ковер. Пряха, труды и дни твои! Женщина! Где моя жена, ответь? Умерла ли она? А может, она жива? Где дети мои? Я любил их. Может, они все заболели и умерли в страшную эпидемию, когда в огне революции пожирала людей отчаянные, голодные и жадные хищники — тиф, инфлуэнца, холера, оспа, чума? Пряха, Арахна, послушница Времени, я женюсь на тебе. Да нет, горделивая ткачиха, наслаждайся своим монотонным ремеслом, я пошутил. У меня есть Душа моя. Я не оставлю её никогда.

Когда мы собрались в навечный путь на Север, нам выделили верховых лошадей. Монахини, дико хохоча, еле забрались в седла. Старик, с повязкой через лоб, как одноглазый разбойник, вынес нам в подарок двенадцать собольих шкур: монахиням по три шкурки, и мне три. Я отказался: зачем мне соболя?... и монахини получили по четыре. Драгоценная рухлядь, смеялись мы, царские меха.

Ехали мы, пешком шли, лошадей под уздцы вели, потом опять на них взбирались, потеплело, налетел гнус, от укусов мошки мы погибали, мошка обьедает лицо, мы оботрём ладонями лоб и щёки, а ладони все в крови. Лошади, нещадно покусанные, падали на землю и валялись по траве, и дико, тоскливо ржали. Жаловались.

Опять на лодке по Ангаре плыли. К берегу пристанем, общими усилиями лодку выволочем из воды, уткнём носом в камни, а сами в виду воды среди камней встанем и отслужим Божественную Литургию. Никогда не забуду, как пели мои монахини под широким холодным небом! Я на-

рек их, когда постригал: одну Евпраксия, другую Евлалия, третью Евфросинья.

Плыли до впадения Ангары в Енисей, по Енисею на барже. По берегам возникали из густого тумана тунгусские селенья; тунгусы стояли на берегу, глядели, как мы плывём; я видел, у многих трахома, выворачиваются огненными знаками на опалённых солнцем лицах ярко-красные веки. Они нам кричали: Туруханск близёхонько!

Туруханск, и мы сошли на берег, и тут тоже стояли люди, люди, много людей, и вдруг все они опустились передо мной на колени. И все, все до одного, сложили руки лодочкой: благословения просили. Я всех, каждого в той толпе на берегу, обошёл и благословил. Люди плакали. Охрана терпеливо ждала, пока я всех благословлял. Ни слова охранники не изронили.

И я видел, как оттащили от меня моих монахинь, как повели их прочь от меня, и они всё оглядывались на меня, и слёзы катились у них по щекам, но и они ни словца не проронили. Так, молча, их и увели. А меня, после общего благословения и общей, на берегу, молитвы посадили в телегу, стегнули лошадь и повезли, и привезли в больницу.

Я понял: народу я тут нужен и как иерей, и как хирург. Как хирург, может быть, нужнее, чем как священник. Хотя вот кто душу спасёт? Тело, в нём душа прячется. Приходит смерть, душа вылетает вон из тела. Куда идёт? На мытарства, а может, сразу в Небесный Иерусалим поднимается, несомая златокрылыми Ангелами?

Время раскатывалось тонким тестом на столе, под невидимой тяжкой скалкой, посыпалось, чтобы не приставало к рукам, глазам и сердцу, тонкой звёздной мукой. Из Времени надо было испечь блины, хлебы, оладьи, лепёшки, а я смотрел на его раскатанное по столу моей судьбы тесто, и растерянно думал: ну я-то ведь не повар, какой из меня повар, стряпать не могу, могу только лечить и молиться.

И я лечил и молился, о Времени не думая.

Привозили брюхатых тунгусок и русских баб на сносях, не способных разродиться — я делал кесарево сечение, вынимал из кровавой утробы свеженького, не натрудившегося в родах младенца, всего гладкого, блестящего, как красная смуглая рыбка, в масляной родильной смазке, дико орущего, глазки-щёлочки, пуповина вьётся сизой,

лиловой нитью, мать плачет от радости, уже не от боли, младенец рыбою бьётся у меня в руках; я показываю его матери, верчу перед ней, чтобы рассмотрела она чадо своё со всех сторон, у неё глаза превращаются в Богородицыны очи чудотворной иконы Чимеевской. Какой красивый! Мальчик? Мальчик, мальчик, бормочу я, да, прекрасный.

Я делал глазные операции, ободрённый успехом удаления хрусталика древнему слепому деду; обрабатывал и зашивал рваные раны, вправлял переломы, творил резекцию челюсти и резекцию язвенного желудка, всё делал, что надо было делать, когда человека постигает большая беда. Я даже самоубийц, в последний момент вытасченных из петли, лечил; они успевали повредить себе трахею, а кто-то и шейные позвонки, и кому-то на всю оставшуюся жизнь требовалась иммобилизация и фиксирующий шею твердый воротник, наподобие шины. Иной человек жизни не сдюживает, и ему кажется лучшим и счастливейшим путем — расстаться с жизнью; и так то, что дал человеку Бог, он отнимает у себя сам; и это несчастье запоминает, и потом, минуту улечив, опять повторяет. Так бывает.

Я пытался вызнать у охраны, где мои монахини. Охрана молчала. Я прекратил расспросы. Помолился за их души светлые. Если вас уж нет на свете, пускай вы будете, родные, дорогие, в светлом, пресветлом Царствии Божиим, в Саду Эдемском, под Покровом Богородицы. Так молился.

Я лицом к лицу стоял с людьми, кто ненавидел Бога. Бог тем людям был их личный враг. Я видел, как сверкали злобой их глаза, когда они говорили о Боге. Уничижали Господа гадкой руганью. И я не мог залепить уши мои воском, заткнуть ватой, чтобы не слышать поношений. Словом можно ударить наотмашь, изувечить; убить. При мне Бога убивали, снова и снова. Распятый снова подвергался Распятию, и Крест возвышался вечен, и души людские, как покаленные, слепые, выколотые глаза, незрячи пребывали. Иногда злые люди, охранявшие меня, позволяли мне отслужить обедню в заброшенном монастыре на берегу Енисея. Я спрашивал мою охрану: а в Саблино-то когда поедем? Охранники молчали. Я осенял их крестным знамением.

Они отшатывались от крестящей их моей руки, как от змеи.

Один раз охранник ударил меня, когда я его благословлял. Я низко поклонился ему, до земли.

Видел: он хотел ударить меня ещё раз. Но сдержался.

В осиротелый монастырь меня возили в особых санях: в кошеве, укрытой попоной, сплошь расшитой розанами и маками. Эту кошёвку и расшитую цветами попону подарили мне туруханские крестьяне. На снегу такая самоцветная кошева гляделась ярким Царским поездом. Я смеялся: ну точно я Царь! А шёпотом бормотал, крестясь: да нет, жалкий я и нищий, один из малых сих, а Царь у нас у всех один, Небесный.

Я до того осмелился, что стал проповедовать в монастырском Троицком соборе. В нем была разрушена, вся в зияниях дыр, южная стена. Ветер гулял по храму. Немногочисленная паства, все крестьяне, русские, эвенки, тунгусы и тофалары, медленно подходили к Причастию. Диякона ко мне не приставили. Какие в тундре дияконы? Я справлялся с причащением один. Потир дрожал в моих руках. Я волновался. Люди причащались Святых Даров, иной раз и Преждеосвященных, а пока медленно, как во сне, подходили к золочённому потиру в моих руках, две девочки маленькие, ну вроде тебя, дитя, тонкими голосами пели «Иже Херувимы», это я их научил.

О чем я проповедовал? Как? Я говорил о Духе Святом. О душе. О сердце. О Господе. И о том, что есть тело человека. О тело человека, говорил я, его нам не понять! Мы его кормим, поим, холим, обихаживаем, одеваем в тёплые зверьи шкуры зимой и в ситцевые невесомые наряды летом, чуть захворает оно, спешим его излечить, мы боимся его страданий, недуги причиняют нам боль не только телесную, но и душевную, и часто обе боли мы вынести не можем; но тело человека, чего оно носитель? Оно умирает, и оно уходит в землю во гробе. Перестает биться сердце, вместилище любви. Прекращает каждодневную работу мозг, прибежище мысли. Не шевелятся руки, не идут ноги; лежит тело человека, спокойно, навеки в домовине вытянувшись, и помину нет ему. Истлевает! Плоть изгнивает и обнажает кости. Страшный скелет возлежит под землёй. Настанет время, и кости оденутся плотью, и восстанут тела из могил; но то свершится на Страшном Суде, а когда он грянет, не знает никто. И я не знаю. Один Бог знает. Но Он нам о том не скажет.

И что? Лелейте тело, ублажайте и услаждайте его! Всё равно оно умрёт. Уйдёт в свой черед. А вы? Спрашиваете вы меня: останемся ли мы? О какой такой душе говоришь ты тут нам, слуга Господень? Где она живёт, та душа? Откуда в тело прилетает? Куда улетает, когда тело уходит в землю сырую?

И отвечал им я: душа это самое важное, самое живое и бессмертное во всем Мíре Господнем. Душа, это ваше упование. Ваша надежда! На жизнь будущую, на тысячелетнее Царство Христа Бога, что наступит на земле, и тысяча лет пройдет как один солнечный день, и обнимутся все люди напоследок, и станут одной душою, как Бог, Альфою и Омегой, Началом и Концом всего.

Я видел: глядели на меня енисейские крестьяне, русские и нерусские, большими глазами глядели и маленькими, узкими, как мальки на мелководье, и не понимали, что я им тут такое повествую. А я все равно говорил, говорил, говорил.

И, приходя в больницу, где лежали те, кого я оперировал вчера, утром, днем и ночью, я о том же говорил; и подходил к их койкам, и глядел им в глаза, и поправлял повязки, и вытирал ладонью со лба пот, и вытирал со щёк им слёзы, и благословлял их.

Власти обозлились на меня за проповеди. Од-нажды охранник, как с цепи сорвался, заорал на меня: собирайся, поп, на севера попрёшься! Час тебе на сборы! Я спросил: в Саблино едем? Охранник выплюнул мне в лицо: да, в Саблино! На Северный Ледовитый! Вот там уж замёрзнешь, поп! Окоченеешь! И никто тебя не отпоёт! Разве белые медведи!

Собрался я быстро. В котомку засунул и больничную толстую тетрадку мою. Я давно уже записывал в ней не только симптоматику в динамике и температуру моих больных, но и мои мысли о том, о сём. О Боге и человеке. О душе, сердце, теле и великом Духе Святом.

Крестьяне прослышали, что меня увозят. Приволокли мне в дорогу огромное, сшитое из медвежьей шкуры одеяло. Я восседал в кошеве, а меня крестьяне укрывали медвежьим одеялом и плакали. Они меня крестили, кто двуперстием, кто троеперстием, всяко-разно, а я их. Мы крестами будто целовали и обнимали друг друга, как в Пасху Господню.

Мороз ударил, и к ночи звёзды превратились в ледяные осколки и густо сыпались с небес в расстеленные белые покрывала необъятной тундры. Я трясся в кошеве, из ноздрей лошади валил густой пар. За мной в крытой повозке, запряжённой двумя конями, ехала вооруженная охрана. Я, безоружный, укрытый медвежьей шкурой, задрогший вусмерть; и они, в кибитке, там надышано, тепло, и винтовки у них, и наганы, и ножи, как же в тундре без холодного оружия, а если надо хищника ножом пырнуть. Повозки с берега скатились прямо на зальделый Енисей, и покатили прямо на Север, куда и стремилась мощная река, бока лошадей раздувались, они тоже замерзали, их спасал усердный бег, бег вдаль, по льду, по звёздам, по коврам и белым соболям, и серебряным песцам беспредельных снегов, и один Бог ведал, когда мы в то Саблино прибудем, и прибудем ли, уж очень сильный мороз ударил, такой, что дышать нельзя, мороз-убивец, ох, задохнёмся, околеем, и я начал молиться Господу, чтобы помог, поддержал, укрепил меня, слабого, маловерного.

На пригорке виднелся сгоревший поселок. Чёрные избы, пепелища. Никого. Нет, вон к нам медленно, увязая в снегу мохнатыми пимами, эвенк ковыляет. Ворота его избы распахнуты. Изба цела. Единственная. Во дворе толкутся отошальные олени. Мы подъехали к воротам и крикнули эвенку: забирай лошадей, дай нам оленей! Он понял. Мы распрягли усталых лошадей и впрягли оленей в повозки. Не дотянут олешки, зло выдохнул охранник и сплюнул в снег, уже больно слабы, доходяги. Это я не дотяну, прохрипел я, согреться бы, хоть немного, закоченел весь. Охранники, сквернословя, несли меня в избу оленевода на руках. Внесли и бросили на пол. Я шмякнулся об пол, как мешок с камнями, и сознание потерял. Очнулся оттого, что эвенк поил меня горячим молоком странного вкуса и приговаривал: глотай, глотай, оленуха млеко, замороз, в погребица зимка хороницца.

Настало утро, мы отогрелись, напились оленьего молока и пустились в путь.

Вот оно, полярное Саблино. Последнее, перед Чёрной Гибелью ночного неба, место на земле, где живёт человек.

Ещё человек, не зверь.

Ещё живёт.

Ещё глядит на небеса, а в них копошатся, ползают звёзды, погибают и вспыхивают, не сосчитать; великое паникадило, вечный медленный, зачатый Круг, круговращенье Мировъ, колесо веры, коловрат памяти, веретено надежды, хоро-вод любви.

В селе Саблино я насчитал семь изб. Семь, ду-мал я, улыбаясь, счастливое, святое число. Меня поселили в холоднущей избе; не изба, а ледник; вместо вторых рам в окнах торчали плоские блестящие льдины. Горка снега лежала на полу около двери. Мужик привозил мне на салазках дрова; баба стряпала и стирала. Мужик сколотил мне для спанья нары, я накрыл их дарёной медвежьей шкурой, а мужик расщедрился и приволок мне ещё оленью шкуру, укрываться. В избе имелась печка-буржуйка, я насую в неё дровишек на ночь, они прогорят, и тепло мне. Иногда проснусь, а огонь в печке пыхает, я разлеплю глаза, на пламя гляжу, а оно яркое, мне со сна так сетчатку и обожжёт, злее молнии. Утром встану, а в избе мороз, и вода в ведре затянута толстою коркой льда. Жизнь! Ты ведь тоже лёд! Сплошной лёд! И не протаять тебя, не растопить бедным, огненным сердцем! А всё равно бьётся оно в груди, жжёт, ледяную смерть прожигает! Наш удел. Душе моя, душе, восстани! что спиши!

Сердце пылает, а ноги в валенках стынют. Кого тут лечить? Кому молиться? Они сказали, на всю жизнь я сослан сюда. На всю! А что такое вся жизнь? Может, это сегодня, завтра, а послезавтра у тебя, человеке, уже не будет! Я мылся ледяною водой из застывшего ведра, разбивая кружкой лёд; я зачерпывал из медного чайника кипятков и обливался кипятком, и кожа моя не чувала ожога. В ночи раздавался дикий треск: это трескался лед поперек Енисея, а там, чуть поодаль, за выгибом снежной хребтины, виднелось море. Забубрины льда, забереги, круглая шуга, белое крошево, а дальше вода, вода и чернота, вода и зловещая зелень, вода и мрачно-красное, резкой полосой крови, небо, переходящее опять в навечный траур: закат кровит, а полночь обвязывает смоляным крепом. Душа! Не спи! Гляди! Запоминай!

Да для кого запоминать-то? Может, с памятью навек проститься?

И с Временем тоже?

Баба, что готовила мне скудную пищу, исчезла.

Охранник-призрак пропадал и появлялся. Я спросил его, где моя кухарка. Он нехотя ответил: её загрызли волки, помчалась, дура, в другой станок, в Лихое, там дочь у ней, а волки напали, лошадей загрызли, и её самое. Сам себе стряпай, повар Гордей! Первое моё блюдо была уха из трески. Треску я, чтобы звери не сожрали, хранил, завернутой в вощеную бумагу, на окне, около моих ледяных стекол. Я забыл уху посолить, и сыпал соль прямо в тарелку, когда ел, а хлеб мой закончился, и не знал я, когда привезут мне жёсткий ржаной кирпич, прихлёбывал уху и бормотал, треску вкушая: Господь двумя рыбами уйму народу накормил, и пятью хлебами, вот оно, чудо, а у меня тут чудо простое, чудо, Господи, что я живу, ещё живу. И ел уху, молясь и крестясь, и так всю из котла выхлебал, и сыт пребывал.

И так научился я сам себе еду готовить.

И мне посчастливилось не только хоронить людей в вечной мерзлоте, но и роды принимать, и крестить.

В селце Саблино я крестил новорожденного ребенка.

Из Лихого в Саблино прибыла беременная дочь моей погибшей поварихи и вознамерилась тут родить. Брюхатая не знала, что мать её померла страшной смертью; от слёз-рыданий у неё начались роды, и меня позвали их принимать. Я наклонялся над роженицей, сгибал ей ноги в коленях, кричал: тужься! тужься! Она тужилась, как могла. Не вопила. Терпеливая. Только пот тёк по лицу рекой, и вся она истекала, подплывала потом и кровью, серебряными околоплодными водами, лежала на полу на старом тряпье, вокруг ахали две старухи, да Господи Боже, какие из них повитухи, так, мешали мне, я соображал: нет, кесарево нельзя, да и молодая она, сама родит, прощупал ей живот, предлежание у плода было неправильное, тазовое, он шел вперёд ножками, а не головкою, и я мог совершить поворот плода, мог, меня же учили, да что же такое с плодом стряслось, может, он обвит пуповиною, и сейчас там, в утробе, синее и задыхается, а ему надо родиться! надо! надо!

Я положил правую руку на низ живота роженицы, а левой стал нащупывать, через брюшную стенку, головку плода. Толкал. Толкал. Баба охала, стонала. Схватила меня за руки. Я руки её страхнул и тихо, внятно сказал ей: я делаю

так, что ты сама сможешь родить. Иначе разрежу тебе брюхо ножом. Она коротко визгнула и утихомирилась. Постанывала слегка. Когда я повернул головку как надо, роды пошли как по маслу! Ребенок выскочил из чрева как из пушки! Мать и я — мы даже понять ничего не успели! Ну, думаю, опытная мамаша. Я промолвил: это не первый у вас? Родильница, с мокрым счастливым лицом, только и повторяла одно слово: первенчик! первенчик! я-то мнила, буду целную неделюску муцицца!

Я вымыл младенца в корыте, старухи нанесли вскипяченной тёплой воды, я глядел на мальчика и думал: ах, мальчонка, может, тебе доведется жить в Мире, где не будет никаких войн, тюрем, пыток, издевательств, где волки тебя не загрызут, и во льдах ты не утонешь, и на костре тебя не сожгут, развлекаясь твоими смертными муками.

Не было при мне моей многостираной рясы. Не было спасительного требника. Не совершал я никогда обряд крещения новорождённого младенца. Что делать? Они все, старухи и хозяин, стояли рядом и ждали, и жадно, восторженно и требовательно глядели на меня, то как на Бога, то как на прислугу; они прекрасно знали, что я священник, и ждали от меня того, что я должен был сделать.

— Полотенце мне дайте!

Старуха росточком пониже метнулась на кухню, чуть не упала и доски не клюнула носом, несёт полотенце самотканое, я беру полотенце у неё из коричневых, медовых, горько-корявых рук, а руки её древние, коряги живые, дрожат, она понимает: это уже не полотенце, и я понимаю, высоко полотенце поднимаю и возглашаю:

— Да наречешься ты на сей миг епитрахиль!

Вешаю епитрахиль на спинку стула.

Простираю руки к корыту, где миг назад купал ребенка, и восклицаю:

— Да наречешься ты на сей миг святая купель!

Низкий потолок избы не позволял мне, высокому, выпрямиться во весь рост. Я сгорбился, стоял согнувшись. По половицам раздался стук, будто шагала женщина на каблуках. Это в комнату вошел из хлева телёнок, цокая копытцами, подошел к купели и, окунув туда морду, немного попил из нее тёплой воды.

Старухи повалились на колени. Я смутно думал: ну вот, у нас здесь всё будет как в Святом Семействе, как в яслях в Вифлееме, вот и телё-

нок в избу взошёл, а там, глядишь, и мать-корова придёт, а за нею коза, а за нею овца, и пастухи явятся, приведут собак с волчиными мордами, и поклонятся Тому, Кто наконец пришёл на свет, и вот, я Ему тоже поклонюсь; а кто же такой сам человек, разве не создан он по образу и подобию Божию, разве в человеке Бог не пребывает, в каждом, во всякую минуту жизни его, и что же мне делать в новоявленных яслях, Господи? Какие молитвы читать, какие мелодии во славу новой жизни петь?

И головою в холодную воду я — прыгнул!

Как в Ледовитый океан — со скалы, униженной тысячьо галдящих птиц!

И стал я громко, торжественно петь и огненно читать!

И я сам, сам те пламенные молитвы на ходу сочинял, и Господь меня простил за это, и не только простил, а в сём новом, северном Вифлееме, в сердцевине лютых полярных морозов, в скрещении кровавых закатных, посмертных ножей, среди расстеленных по выставшей землице белых парчовых платов, неистово, яростно сверкающих под низким молочным, сливочным Солнцем и под солью-россыпью юродивых звёзд, Господь меня — да, меня! жалкого слугу Своего! разнесчастного, битого-забытого иерея Своего! každоневного пахаря чернозёмного-вселенского, безграничного поля Своего! — поддержал, ободрил, обласкал, с небес сильною рукой перекрестил! Так, без слова единого, Он сказал мне: делай, что должен делать, и буду Я тебе помощь!

Не было у меня снежных парчовых одежд, не было белых нарукавниц; не было свечей длинных, вечно горящих, не было кадила, чтобы покадить щедро и густо вокруг купели; а была лишь купель, вот она, еще вчера она была жестяным корытом, и был младенец, красный как вино, лежал на полу на рваной простынке, сучил ножонками и орал, и обрезанную пуповину ему уж обмотали ветошью старухи; и обошёл я вокруг купели, поднимая руку, будто бы кадил, и крестились старухи, стоя на коленях, и хозяин, с бородою седой, длинной, чистый старец Симеон, на колени в дверном проёме встал, и низко, в пол, поклонился я им всем, и родильнице нижайше поклонился.

И за диакона глаголил:

— Благослови, Владыко!

И, сам за себя, радостно возгласил:

— Благословено Царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь!

И снова за диакона возглашал ектенью:

— Мiромъ Господу помолимся... О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся... О мире всего Мiра, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся... О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онъ, Господу помолимся... О Великом Господине и отце нашем, Святейшем Патриархе... Патриархе...

Слёзы сами полились.

Так и лились на рот, на губы поющие, на сияющие слова. На прошлое и будущее.

— О Богохранимой стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся... О еже освятитися воде ей, силою... силою и действием... и... и Святым Духом... и наитием Святаго Духа... Господу помолимся... О еже достойну быти нетленного Царствия в ней крещаемому, Господу помолимся... О еже сохранить ему одежду Крещения, и обручение Духа нескверно и непорочно, в день страшный Христа Бога нашего, Господу помолимся... О еже быти ему воде сей банею пакибытия, оставлению грехов и одежды нетления, Господу помолимся!.. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию... Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувшие, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим... Тебе, Господи!..

Ектенью я ещё помнил. Все диаконы мои, что мне сослужили, глаголали её исправно и без запинки. А вот мою, тайную молитву, что я над крещаемым шёпотом должен был читать, я тихо пел из сердца моего, понимая: забыл, требника нет, молиться надо, и что есть молитва, как не славословие изнутри души? Песня любящего, кровью омытого сердца, что бьётся и верит: никогда не умру.

— Боже, милостив буди ко мне, грешному! Боже, смилуйся над нами всеми... Ты все тайны наши один ведаешь. Ничто от Тебя не укроется. Ты нас на ладони держишь. Мы все Твои птахи, Твои крохи. Все мы обнажены перед очами Твоими. И если что сотворим мы ужасного и грешного, Ты все равно будешь ожидать от нас, безумных, по-

каяния... а мы-то ведь каяться не умеем никто... Омой, Господи, чистыми Твоими слезами наши скверну телесную и скверну душевную! Ты чист, Ты свят. Подари нам совершенную веру и самую небесную свободу! Мы рабы греха, а Ты человеколюбец. Ниспошли нам великую силу Твою для сражения со злом. Вот человек родился на свет; подари ему, Господи, истину Твою! Пусть пребудет он и душа его, и сердце его в лоне Твоей святой, соборной и Апостольской Церкви... Господи... услышь... спаси и сохрани...

Я помнил: теперь надо громко возглашать молитву, во весь голос.

Старухи всё ниже клонили головы и всё чаще крестились. Хозяин безмолвно глядел на меня. Он видел меня не в нищей истрепанной одежонке, а в лучезарной ризе.

Восторг светился в его глазах и искрами перебегал на людей, утварь, чёрные староверские иконы по стенам мрачного сруба, а из тьмы образов наплывало и вспыхивало забытое золото небесной таинописью.

Рождённый на свет мальчик внезапно замер, перестал повизгивать поросёночком и кряхтеть, умолк, прислушивался к тишине, к шёпоту. А когда я стал молиться громко, на всю избу — вздрогнул всем красным тельцем и повернул ко мне лысую головёнку.

— Чудны дела Твои, Господи! Велик Ты, Господь наш, и славен на всю землю и все небеса! Пою все Твои чудеса, что Ты совершил среди людей, и те, что ещё совершишь, о Втором Твоем Пришествии! Ты держишь в руке Твоей всякую земную тварь. Всеми четырьмя стихиями Ты повелеваешь! Огонь, земля, вода, воздух... воздух есть Ты Сам, и Тобою мы дышим! Пред Тобою трепещут все люди и звери, Тебе сияет Солнце, Тебе мерцает Луна... Тебя обступают звёзды, к Тебе стремится свет, Тебе раскрываются бездны, тебе немолчно журчат источники... Кожею телячьей ты развернул над землёю родное небо! Утвердил Ты родную землю на водах! Обнял ты море великое песком и камнями! Служат Тебе Ангелы... и Архангелы... многоочитые Херувимы и шестикрылые Серафимы... Господи! Неподвластен Ты языку человеческому. Безначальный Ты и несказанный. Явился Ты на землю нашу во образе человека, и, как раб, как крестьянин простой, по пыльным дорогам ходил... и ученики Твои

смирненно шли за Тобой... И зрел Ты, как диавол мучит род человеческий, истязает его, и захотел Ты человека спасти! И спас! Ты... спас нас... всех...

Младенец глядел на меня глазами круглыми, тёмными, бездонными, так глядел, будто всё понимал.

— Исповедуем благодать Твою, Господи, проповедуем милость Твою! Девственную утробу Матери Твоей Пресвятой Богородицы освятил Ты рождением Твоим. Ты на земле явился, и жизнь Твою на земле прожил среди нас, человеков. В реке Иордан крестился Ты, вошел в воду, и Отец Твой с небес ниспослал Тебе Святого Духа в виде голубя. Явись и ныне, Господь наш! И освяти сию крещальную воду наитием Святого Духа Твоего! И дай той воде благодать избавления, Иордана благословение, сотвори источник нетления, дар освящения, грехов разрешение, недугов исцеление... демонов всех погуби, Ангельскую крепость возведи... Да исчезнет зло и все враги Твои от произнесения одного дивного, славного имени Твоего!

Я перекрестил воду в купели, трижды окунувши в неё пальцы.

Слова Таинства воссияли в памяти. Я считал их с небес. Эти — вспомнил точно.

— Да сокрушатся под знаменiem образа Креста Твоего вся сопротивныя силы...

Дальше будто волна на меня накатила. Сквозь водяную толщу я еле различал буквы, они тут же начинали звучать. Это было диво дивное — я видел словеса, и я их сразу слышал, и они таяли у меня на губах, и под строгим, без дна, взором младенца я смущался, вспоминая и забывая, терялся, дрожал, боялся, а в страхе душа всё равно ликовала, новый человек родился, и я, я крещаю его, Господи!

— Ты даровал нам, Господи, свыше рождение водою и Духом...

Елей, дальше ведь елей... а нет, нет у меня святого масла... вообрази, вообрази...

— Быти, быти тому помазанию нетления... оружию правды... обновлению души и тела... всякого диавольского действия отгнанию... во славу Твою, Отче, и Единородного Твоего Сына, и Пресвятого, благого и животворящего Твоего Духа...

Старуха, что поближе ко мне на коленях стояла, встала, кряхтя и задыхаясь, взяла на руки младен-

чика и поднесла ко мне. Я окунул пальцы в воду и помазал ребёнка лоб и грудь.

— Помазается раб Божий... как называли?.. пока никак?.. пусть будет Алексей, человек Божий... раб Божий Алексей, елеем радования, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь.

Мазал уши.

— Во слышание веры...

Мазал руки.

— Руки Твои, Господи, сотворили меня и создали меня.

Мазал ноги. Младенчик скрючил ноги и захныкал.

— Ходить теперь ему по стопам заповедей Твоих.

Я спросил старуху:

— В какой стороне восток?

Старуха, зажав беззубый рот рукой, другой рукой махнула; там чернели ночные окна непроглядной, довременной сажей.

Я пропел торжественно, глядя на восток:

— Крещается раб Божий Алексей, во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святого Духа, аминь.

А теперь что? А теперь тридцать первый Давидов псалом. Помнишь, не помнишь — пой! Пой, что помнишь! Ты сам себе требник. Ты Господень поводырь, ты Его сюда привёл, в ледяную избу на краю света! А может, это ты слепец, а Он твой поводырь, и влёкся ты за Ним, на свет и смех Его, на нежно звучащее в ночи слово Его! И так пришли вы оба к людям, во чьей семье пополнение; и откуда тебе знать, как сложится жизнь мальчонки Алексея, на какой войне он сгинет или за какой грех его к стенке поставят и расстреляют; Время не знает никто; но иногда, иногда Время расступается перед тобой, бедный человек, как Чермное море расступилось перед воинством Моисеевым, и сомкнулось вновь перед войском фараоновым; и можно в прозрачной, слёзно-соленой воде разглядеть всё, сужденное на веку. Тебе или кому другому. Другой, он твоя родня. Вы все близко. Вы все едины.

— Беззаконие мое познах и греха моего не покрых... Ты еси прибежище мое от скорби... Веселился о Господе, и радуйтесь, праведнии...

Другая старуха встала с колен на удивление легко, как девица. Сдёрнула с табурета сложенную простыню, встряхнула, развернула. Подала мне. Я закутал ребёнка в простынку. Он опять запла-

кал, громко, требовательно; потом согрелся, умолк. Мать лежала на полу, я время от времени поглядывал на её красное, мокрое лицо. Она безмолвно улыбалась и вытирала лицо ладонью.

— Облачается раб Божий Алексей... в ризу правды... вот имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь...

И некому со мной, одиноким, было петь последний тропарь, и сам я его спел, один, светло и сурово, может, и мимо нот, а может, и верно.

— Ризу мне подаждь светлу! Одейся светом, яко ризою! Многомилостиве Христе Боже наш!

Я положил младенца матери на грудь и воздел руки. Сам, весь, превратился в одну хвалебную песнь Господу. Старухи подхватили за мной немудрёный мотив тропаря, дребезжащими голосёнками грянули:

— Яко ризою!.. Многомилостиве... Христе Боже! Наш!

После Таинства Крещения меня старухи угостили блинами из серой муки. Я давно не едал ничего более вкусного. Когда съел последний на моей миске блин, старуха, похожая на тощую девочку, вот на тебя, дитяtko, чем-то похожая, длинно, долго поглядела на меня и заплакала.

Среди ночи меня под руки, как Царя, отвели в мою избу. Я задираю голову и глядел на звёзды, пока мы медленно шли, перебирались через наметённые за вечер сугробы. Звёзды походили на маленьких серебряных птичек. Они беззвучно щебетали. Там, немыслимо высоко, в запредельной дали. Никогда мы там, человеки, не будем. Никогда не поглядим на звёзды вблизи. Что есть звезда? Сестра нашего Солнца. Так же пылает, так же тебя жжёт, и сожжёт, если близко подлететь.

Завернул сильнейший мороз. Если и жили в Саблине птицы, они все умерли. Все валяются в снегу окоченелыми комочками. А человек идёт. Ещё бредет. Ещё и на свет рождает человека. Нет предела жизни, кроме смерти одной. Смерть свята. Она Мать. Она полуночная скорбная Богородица: уводит нас за руку от Мира людей в небесный Мир. Дул ветер, обжигал нас лица: хозяину, он шёл праворучь меня, легконогой старухе леворучь, закутанной во тьму платков с кистями, и мне. Я понимал: сейчас отморожу щёки. Вырвал у

хозяина из-под цепкой рукавицы руку и закрылся рукавом.

— Што?! Морозика заел?!

— Да ветер! — выкрикнул я из-за руки.

— Сивер дует! Злой!

Мы уже подходили к моей избе.

— А не страшно тут тебе, батюшко?!

Хозяин орал как на пожаре.

Сквозь вой ветра мало что было слышать.

— Нет! А кого тут бояться!

— Ну! Есть ково! Волков! Ай белых медведёв! С моря придут!

Я весело махнул рукой.

Вошел в избу. Запер дверь на задвижку. Выдохнул. Пар за клубился, я стоял в клубах густого сизого пара, как лошадь среди метелицы. Чего ради мне бояться? Из озорства, а может, из упрямства я вернулся к двери и открыл её изнутри.

Лёг спать в одежде. Не мог согреться. Надвинул треух на лицо. Дышал в него. Молитву читал. Винно-красное личико младенца, его сперва узко-раскосые, потом вдруг широко раскрытые, иконно-круглые глаза так и стояли передо мной. Плыли во мраке, маячили вспышками радости, делали таинственные круги, возвращались. И запах, запах молока в ноздрях, молозива, коровий, сладкий, бабий запах. Возвращение. Вернуться. Передо мной, как на иконе, встали из тьмы люди, а быть может, уже святые. Моя жена и двое моих детей. Я понял: их нет на свете. Убили? Захворали и умерли? Никто не знал, и я не знал. Один Бог знал. Я ушёл от них на войну. Где моя война? Где моя семья? Где я теперь?

Мне показалось: дверь скрипнула. И шаги почудились в сенях, осторожные, мягкие. В валенках движется тать, а может, в пимах. Я сбросил с лица треух и приподнялся на локтях, слушал. Тихо, тихо двигалось по сеням Живое, жизнь на то и создана, чтобы двигаться, шевелиться, лететь, идти, ползти. И ни ножа у меня под сырою холодной подушкой, ни топора под нарами. Чем буду сражаться?

А нужно ли сражаться?

Я сидел на кровати и тарасился во мрак, беременный безумием. Тихо, говорил я себе, тихо, не шуми, ты тут есть и в то же время тебя нет. Застыл, глыба льда. Глубоко, далеко под слоями льда стучало сердце. Стучала жизнь, просила выхода. Вы-

хода не было. Сейчас откроется дверь, и что я скажу, когда увижу?

Кого? Что увижу?

Дверь из сеней в комнату подалась. Я сидел ледяною фигурой. Тихо, очень медленно в избу вошла женщина. Шуба, тряпки, платки, шарфы. Она сбросила рукавицы. Медленно разматывала платки, бросала на пол. Хрипло дышала. Из-под платка в лунном свете, сочащемся из бельмастого окна, сверкнули русые косы. Женщина низко опустила лицо. Что она увидела на грязном полу? Мои следы? Зверьи, птичьи письмена?

— Зачем ты здесь?

Молчит.

— Кто тебя привез сюда, на край земли?

Молчит.

И я, я ведь знаю, кто она. Но сам себе про это молчу.

Нельзя про это говорить.

Никогда. Никому.

Надо с ней говорить. Она ответит. Пусть хоть выдохом, хоть смехом. Хоть заплачет.

— Ты пришла... чтобы...

Я догадался.

— Мне сказать... о моей...

Нельзя договаривать. Нельзя человеку знать часа своего. Никто не знает.

Она вскинула голову и повернула ко мне лицо. Полной Луной забелело оно в холодной, замозильной темноте избы.

— Я очень сильно болею. Страшно болею. Никто не лечит. Нечем лечить. Я далеко на Севере. Потерпи немного. Тебя привезут ко мне. Мы увидимся. На горе себе увидимся. Нам бы...

Опять молчит.

А я слушаю её молчание.

Господи! Только пусть не уходит! Никуда! И никогда!

Слушаю, молчу и дрожу.

— Лучше... не встречаться. Беда будет... и сказать не могу, какая... беда, беда, все мы в беде... мы из неё не выберемся... Я бы хотела... хотела... чтобы ты был героем... героем... но ты не герой... нет... но я так... так тебя... нет, нет, не слушай меня, радость есть, есть... есть радость, большая радость... её только задавили, задушили... ты слышал... ты всё запомнил, всё... прости меня. Прости... если сможешь!..

Я хотел сказать ей: сядь, Душа моя, вон табурет, устала ты, — и не мог.

И она замолчала.

Отвернулась. Ждала. Чего? Слова моего?

Кончились слова. Зачем Душе слова? Она же без слов. Дышит.

Медленно, как и вошла в избу, шагнула к двери, вышла в сенцы.

Я услышал, как отворилась и захлопнулась дверь в ночь, мороз и звёзды.

Когда она ушла, я насовал дровишек в буржуйку, растопил её и вскипятил в медном чайнике воды. Чайником снегу набрал, вот тебе и вода. Чайник засвистел. Я налил горячей воды в таз и поставил таз на табурет. Вода. Нынче не Крещение, а в Крещение вся на свете вода святая. Стоп! А может, нынче-то и есть Крещение? Господи, что это со мной... я счет дням потерял... и отрывной календарь мой, вон он, на стене, на гвозде висит... я забыл, когда листы отрывал... стой, стой, да правда, по новому стилю... Крещение, воистину...

Мороз пошёл по спине. Я будто весь инеем покрылся, а руки стали легче крыльев. Святая вода. Умыться? Напиться? Нельзя! Кипятки! Брось, уже остывает. Я зачерпнул в пригоршню горячей воды и чуть коснулся её губами. Она утекла сквозь пальцы. Утекло Время. Снег, святой снег. Во весь Север — снег. Небесная вода. Метёт метель, курится пурга. Святая метель. Святая пурга. Все страдание растает и потечёт по земле ручьями. Слезами радости. А теперь посмотри-ка в воду, загляни глубоко.

Я встал над тазом, склонился и приблизил лицо к дрожащей воде. Лунные отблески языком небесной свечи гуляли по воде, она вздрагивала, как спина живого прозрачного зверя. Я глядел сквозь Время, оно затаилось передо мной безязыким зверем. Что я хотел увидеть? Святая вода, всё увидеть хочу! Всю Вселенную! Все звёзды, все Мíры! Но ты, ты дай мне ответ, что там с нами будет! Через года, через века! Молюсь за всех грядущих! Молитвой пронизаю Время! Освящу! Освещу!

Будто меня подкосили, упал я на колени. Близко к воде придвинул лицо. Жарко стало, в пот меня бросило. Отёр лицо руками. Тяжело дышал. От горячей воды поднимался пар и целовал мне лицо.

Я увидел, как со дна старого таза поднимается крылатое существо. Стальные крылья, стальной клюв. Металлический хвост распушен по ветру. Летит. На стальной птице сидит верхом женщина, у нее ярко-красная кожа, нагая грудь выкрашена золотом. Она высоко подняла руки. Пролетает мимо меня. Далеко внизу, под гремящим железным брюхом страшной птицы, из-под земли поднимается чудовищный город. Прозрачные шары домов и дворцов, железные иглы, насквозь прокалывающие рваные нефтяные тучи. Город растёт, он живой, и ни одного человека за ледяными надменными сферами, ни одного огня в узких, с зазубринами, убийственных шпилях. Женщина верхом на страшной птице пролетела, и уже никогда не вернётся.

Вернусь ли я в это Время, чтобы её увидеть?

Пахло полынью. Здесь тундра, а не степь. Этот аромат — сон. Его насладила святая вода. Сегодня Господь крестился в Иордане. Священник в столице, что меня рукоположил, нашептал мне: Иордан мутно-зелёный, сквозь его воду не увидишь ни прошлого, ни будущего. Так, илистая речонка, водятся уклеи и выюны, вётлы купают листья в потоке. Я прищурился, наклонился ещё ниже, почти приник щекой к остывающей воде. Она дрожала, как женская кожа, когда её касается ладонь любящего.

— Скажи мне...

Вода дрожала и молчала.

Город исчез. Из воды на меня глядела моя Душа.

Я глядел на неё, в неё.

Она раскрыла губы и сказала слово, но под водою оно не слышно мне было.

Я пробовал прочитать по губам.

У меня получилось: завтра дорога, завтра, завтра, собирайся, мужайся, возьми тёплые вещи, чтобы не замерзнуть, ничего не бойся, поплывёшь по морю, по морю, океану. Завтра. Завтра.

Милое дитяtko мое, утомилась ты слушать? Денно да ночью всё говорю, говорю, говорю. А ты всё молчишь. Речь моя — зренье моё. Говорю и вижу всё вьвь, вновь. Человек всегда ждёт приказа. Вот приказ прогремит, и человек должен выполнить его. А если не выполнит? Вот армия, и воин присягает: веруй в Бога, сражайся за власть, защищай Родину. Разве это плохо? Святее этого нет ничего в Мире. Кроме любви. Но сражение за

любовь и есть выражение любви; мы все об этом догадываемся, но молчим трусливо. Кого боимся обидеть? Кому не потрафить?

Дунь и плюнь на диавола, человеке: он стоит за твоею спиной. Не бойся его. Ты сильнее. Будь с Богом. Это просто. И это труднее всего в Мире, давно изолгавшемся, оболгавшем не только людей, Время и Бога, но и себя.

Я многое повидал-услыхал в тюрьмах моих. Узник боролся со злом, а ему совали кулаки в нос: ты носитель зла! Человек защищал детей от гибели, а ему вопили в лицо: ты насильник детей, убьём тебя, задушим! Мужик закрыл жену свою своим телом от ножа убийцы, а его лупили в камере в кровь, приговаривая: женоубийца, женоубийца, все равно прикончим тебя, подлюка! А ночью избитый приползал к моим нарам, по полу за ним тянулись кровавые дороги, прислонялся горячим лбом к моей руке и шёпотом просил: исповедуй, батюшка, умираю. И я, закрыв глаза, слушал его исповедь, и о том, как он жену от верной смерти заслонял, и как убийца исчез, дико хохоча, и как плакал над трупом, и как кричали соседи, утром найдя его рыдающим над бездыханным телом. Веришь ли ты мне, батюшка? Бог верит и всё видит! Простишь ли мне, батюшка? Бог простит! Я открывал глаза и прислонял нательный крест к его губам, а вместо епитрахили накрывал главу несчастного краем рваной грязной простыни. И святая епитрахиль это была.

Всё пресуществлялось. Всё преображалось.

Я жил внутри Преображения Господня каждый день, каждый миг.

И благодарил Господа за милость.

Приказ, я ждал приказа. Есть власть, и есть человек, её слуга. Я пребывал слугою Господа, и я смирялся перед властью страны моей: ведь я сам возносил молитвы за здоровье владык наших в каждой Ектенье. Приказ раздался с ясного многозвёздного неба. Меня срочно вызвали в Туруханск. Я ехал в телеге, лошадь еле плелась. Ехал в нартах, на собаках: десять могучих собачин в нарты запрягли, впереди сидел каюр с деревянной длинной палкой, позади я, в тулупе необъятном, меховой горой. Собаки сперва бежали дружно и весело, потом вдруг стали, зарычали, сцепились лапами, зубами; передрались. Я сидел и глядел, как псы дерутся. Вот так и люди грызутся; и кто нас разнимет навеки, какой каюр?

Господи, зачем Ты положил горем нашим, на все времена, ненависть и войну?

Ночевали мы во всяких избах, и в зажиточных, и в нищих. И в нищих избенках люди были добрее и теплее, а в богатых срубах — надменнее и жаднее; хорошо, каюр взял с собой в дорогу кожаный мешок с провизией, и время от времени, пока мы ехали, вытаскивал из мешка разную еду и мне, не глядя, через плечо совал: то вареное яйцо, то кусок солонины, то вяленую кумжу. На морозе я не мог угрызть мясо и рыбу: они превращались в камень. Я дрожал от голода и смеялся над собой.

Прибыли. Сгрузили меня с нарт на машину, и градоначальник повез меня в больницу. Чертыхался. Полбольницы народу умерло от неизвестной инфекции. В городе тоже люди начали помирать. Меня призвали определить болезнь и спасти оставшихся. Господи, молился я, дай сил и вразумления! Вошел в палату, поверх маски оглядел больных. Подошел к одному, откинул одеяло. Рубаху задрал. Так и есть. Красно-розовые пятна по животу. Сыпь. Больной положил руки на лоб и сморщился.

— Голова... раскалывацца... дохтур...

Я укрыв его тощим верблюжьим одеялом и высил голос.

— Всё белье в прожарку! Дезинфекция! Дезинсекция! Всей больницы! Уничтожить вшей! Где хотите раздобыть лимонов! Ударные дозы витамина цэ! У кого осложнения на сердце — камфора внутримышечно! Влажная уборка!

— Война ить идет... а нам солдатиков привезли, а у них вши... мы-то думали, изничтожили... в стирку портки да гимнастёрки... а тут вон...

Нянечка топталась возле меня, лепетала, слезами заливаясь.

Война. Где-то шла война. Далеко от моего ссыльного Севера. Ан нет, и сюда добралась. И стала косить людей.

— Дохтур... ково паралик разбил... кто ослепши, не видит уж ни шиша...

Я шёл по палате, как вихрь, откидывал и набрасывал на людей одеяла. У всех сыпь. Все стонут.

— Врачи где?!

— Ах, с нами крестная сила... Господи, помози... перемерли почти все дохтура-то... одне нянюшки остались...

— Хоть один врач?!

В палату медленно вошёл человек в длинном белом халате. Полы халата били его по пяткам. Я подошел и быстро, нахально растегнул на его груди пуговицы халата, рванул воротник рубашки. Сыпь.

— Почему вы, инфицированный, не ляжете на лечение?!

Доктор покривил рот. Так он пытался улыбнуться.

— Кто же бы их всех... лечил...

Показал на всех глазами. Рукой не было сил показать. Руки у него так и висели, веревками вдоль тела. Он качнулся, как пьяный, я подхватил его, довел до койки и усадил. Сам раздел его, до нижнего белья. Снял с ног его обувь. Закинул ему ноги на матрац.

Подумал и стащил с него сорочку и кальсоны. Он не сопротивлялся.

Я обернулся к нянечке. Швырнул на пол бельё врача.

— Стирка! Дезинсекция! Руками не прикасайтесь! Щётка, совок, ведро!

Нянечка ушла, причитая, уткой переваливаясь с боку на бок.

Больные в палате молчали.

Я понял, почему меня вызвали из Саблина.

Все врачи туруханской больницы умерли от сыпного тифа.

Я боролся с тифом в Туруханске, а время шло. Ход его неумолим. Нам надо это понять и принять; а мы всё восстаём, кричим и плачем, время теряя. Не теряй Времени, дитя; обними его, прижми к сердцу, только сердце способно Время вместить, всё сразу, целиком, навсегда.

Во Времени раздался приказ, предсказанный мне моею Душой. Мне приказ тот сначала по бумаге прочитали, потом устно изъяснили, потом на меня наорали, что тяну время: не медли! сутки тебе на сборы!.. — и я подумал в который раз: почему человеку, что снаряжается в дальний путь, так мало времени отпущено на то, чтобы понять себя, других живых, всех мёртвых и быющее сердце своё. Вещи, что такое вещи? Всевозможные ложки, кружки, кисеты, ящики, коробки, тряпки, кастрюли, мешки, узлы и торбы — что это? Человечий скarb кладется в ёмкости, укладывается аккуратно, если время есть в запасе, или швырнется в котомки не глядя, если нет вре-

мени. Нет времени! Его и правда нет! Его можно взглядом пронизать. На себя, как мясо на острый вертел, насадить. Ты вращаешься, Мирь горит под тобой, и ты горишь, а Время твоё на великом огне поджаривается и становится твоею едой. Рыбой твоей, хлебом твоим, питьём твоим, и пьёшь ты Время жадно, хочешь выпить до дна, чтобы больше никогда тебя не мучила жажда. А дна нет. Всё нет и нет. Глубок сосуд, не выпить, не вычерпать. Бездонен. А ты от горя безумен. Радости желаешь! Праздника! Вот он, праздник, тебе: смерть вокруг.

Смерть людей. Смерть твоя.

Кругом смерть. Всюду смерть.

Так зачем ты спасаешь от смерти людей? Разве не благо она? Разве не прекращает страдать человек, обнимаемый ею крепко и цепко на краю бытия, уводимый ею?

Я собирался быстро, я уже умел быстро собираться в дорогу. Заплечный мешок, кружка, ложка, ножик, и в путь. Ножницы — нужны. Скальпель — нужен. Шприц, игла — да. Крест нателный — на мне. Идёт война. Нет у меня оружия. Моё оружие — Бог. Самое мощное. Самое победное. Навылет. Умри и возродись. Я тоже сражаюсь. Моя правда? Нет. Божия правда. За Ним иду. Его проповедую. Им излечиваю! Им спасаю.

— Ну как, батюшка врач, готов к труду и обороне?! Эх, шибко как вещички-то сложил! Хвалю! Давай в авто шуруй! Опять на севера помчим!

Я застыл с дорожным узлом за плечами.

— Как на севера? А я думал...

— Думай, да башку не сломай! Приказано в Дудинку тебя доставить!

Я закрыл глаза и представил себе карту, и извины рек по ней, и синий узор Енисея, и устье его широченное, и в памяти моей всплыло это название, порт Дудинка, да, точно, смешное такое имечко, детское. Дует дитя в дуду. Песню играет.

— А там что... в больнице работать?

Я знал, что веселый молодой, в лисьей ушанке, охранник ответит.

— Не-е-е-ет! На корабль погрузят! На ледокол! Ну так нынче и все ледоколы в стране воюют! И поплывёшь, горемычный! По морюшку-окияну! На запад! На пересылку! А там уж начальство решит, куда тебя заткнуть, и надолго ли! А может, и на всю жизньюшку!

Я плотно закрыл за собою дверь, и мы оба потопали по хрусткому снежку к машине. Ярилось Солнце. Заливало нас ледяным жёлтым молоком. Краснощёкий охранник, смеясь, с лязгом распахнул дверцу.

— Садись, доктор! Как царя повезу! Тепло в таратайке у меня! Еду-то прихватил? А то у меня с собой и чекушка есть! Оно, конечно, в дороге ни-ни, а на привале — можно! Да и закусь есть! Корюшка копченая! Ум отъешь!

Я втиснулся в кабину. Закрыл глаза. Увидел в незрячей мгле икону Господа Христа. Спас Нерукотворный. Господь широко, строго, необъятно, всем широким холодным окоём глядел на меня. А зрачки его, в сердцевине широко подо лбом расставленных глаз, горели ночным пламенем. Скорбный рот дрогнул. Через миг еле заметно, чуть улыбнулся. Улыбкой Он меня благословил и укрепил.

Проехали много ли, мало ли, не помню. Остановились среди снегов. Охранник не заглушил мотор, он так и тархтел на морозе. Парень деловито ощупал на бедре кобуру, вынул из торбы чекушку и завёрнутую в промасленную бумагу корюшку, отпил из бутылки, крикнул и обернулся ко мне, смирно сидящему сзади.

— Держи! Твое здоровьишко, доктор! Не болей! Я подержал в руках чекушку, погрел.

Глотнул.

Взял из рук охранника кусок копчёной жирной корюшки. Ел.

Ел и плакал. Слёзы капали на рыбу, поливали её.

Стар я и печален стал, что ли, так спокойно и презрительно думал я о себе.

Водка огнём разлилась по телу, и я ощутил, что промёрз. Согревался.

Так, в пару крупных глотков, мы и допили охранникову чекушку. Доели корюшку. Охранник выдохнул водкой и тихо, прижмурясь, как кот, засмеялся.

— Я тебя до первого станка довезу. А дальше не поеду. Дальше — на собаках! Хорошо ты укутан? Не околеешь?

Я не мог говорить, кивнул, и он мой кивок в зеркале увидал. И опять смеялся.

— Живучий ты, доктор! Дай Бог тебе здоровья! Сказал и прикусил губу; я в зеркале видел.

Про Бога ему нельзя было вспоминать. Бога власти давно запретили.

Зачем же власти держали меня при себе? Почему сразу не расстреляли?

Кто я такой был для них, сильнейших? Может быть, тоже сильнейший?

А равный равного ведь не убивает, так?

Что ты врёшь всё, сказал я молча сам себе, что сочиняешь, равный, неравный, захотят — и убьют, и делу конец.

Пронеслось пространство, и укатилось Время. С ним машины, собаки, лошади, телеги, олени. Привезли меня в Дудинку. Прямоком в порт. В длинном, как рыба, доме на берегу, у самой кромки заделкой воды, накормили, напоили. Я ел и пил как во сне. Мне снилась моя жизнь. Я хотел совершить в ней подвиг. Хотел геройства. Хотел умереть в криках и знамёнах, с боем и славой. Хотел на войну. А вместо войны меня держали взаперти. Слава Господу, я тут, в подвёздной тиши, под изумрудными веерами и красными кружевами полнощного Сиянья, делал свое дело: лечил людей.

Мне кинули: сиди и жди, теперь уже скоро. Пришвартовался ледакол, меня к нему повели, спустили с борта трап. Я поднимался по трапу на корабль, мой мешок бил меня по спине. Навстречу мне двинулся моряк. Бушлат расстёгнут, бескозырка сдвинута на затылок. Уши на морозе красными лампами горят. Я понял: не капитан, простой матрос. Он протянул мне руку, и я пожал её.

— Мы заключённых везём, с Чукотки и Новой Земли, на пересылку. Вот вас захватили, и ещё четверых, тут. Вы не в трюме поплывёте, в каюте, с этими четырьмя. Жратвы особой нет. Запасы для команды. Разносолов не держим. Нам приказано доставить вас на остров Анзер. Плыть долго. Не виноват, ежели оголодаете. В трюме народ умирает, мы в море выбрасываем, рыбам. И даже в мешок не зашиваем, мешков нет. Есть орудия и снаряды. И то хорошо. Всё понятно?

— Всё.

— Ну и лады.

На палубе никого, кроме нас. Морячок махнул рукой: мол, иди вон туда. Я пошагал.

Вошёл в тесное железное брюхо корабля, увидел отворённую дверь и шагнул туда.

На железных койках, привинченных громадными болтами к стенам каюты, сидели люди. Четверо. Они воззрились на меня мрачно, тягуче, липко. Сухопарый мужик с серебряной фиксой во рту, в закатанных до колен штанах показал мне на рядно, неряшливо расстеленное у стены.

— Вот здесь спать бушь.

Мужик в волчьей шубе до пят ласково пояснил:

— Все четыре койки заняты. Не обессудь.

Я молча перекрестился и сбросил с себя тулуп. Потом снял белый халат. Узники увидели мою бывалую рясу.

— Ух ты! Да ведь Бога-то никакого нет!

Я молчал.

Потом выпростал из-под рубахи нательный крест и навесил его поверх рясы. Ладонью к сердцу прижал и так ладонь держал, будто крест Господень есть малая птичка, и только я руку отпущу, взлетит и улетит, и поминай как звали.

Медный крест, крупный, грубо сработанный, под ногами Распятого череп Адама, зелёная накипь Времени на потертой красной меди проступает, иззелена-сизая, ледяная, вот она, смертная пытка, и Он её претерпел, перенёс, за нас за всех, да воскреснет Бог и разыдутся врази Его, и да бежат от лица Его вси ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут... яко тает воск от лица огня...

Я не замечал, дитя мое, что я уже читал Давидов псалом вслух, а все люди, четверо, сидят и слушают, и думают, каждый о своём, и глядят на меня исподлобья, гадают, враг я или друг, священник я истинный или маскарадное то одеянье, я подсадная утка, а может, я английский шпион, а может, я тевтонский прихвостень. Кто я? Зачем я здесь?

Я закончил молитву, взял в пальцы крест и поцеловал его.

И каждого в каюте осенил крестным знаменем.

Трое мужчин робко перекрестились. Мужик в волчьей шубе пожал плечами.

— А што же твой Честный Животворящий Крест, твой Бог нас не спас? А на мученья поволок? Где Он, твой Бог? Где спит-почивает?

Я молчал.

— Што молчишь? Нечего сказать?

Я молчал.

— Ну давай, што тушуешься! Ты жа поп! Балакай проповедь твою!

И тогда, девочка моя, я глубоко, до дна лёгких, вздохнул и выдохнул:

— Все людские страдания — Божии испытания. Они посланы нам, чтобы мы их приняли, их переносили, за них благодарили и их преодолели.

Узники молчали.

А что было говорить.

Мы плыли.

Плавание.

Мы рыбы.

Люди, они рыбы. Они плывут, носами разрезая воздух.

Мы плывём во Времени, и мы уже длинные, железные небесные рыбы, и мы стальные глубоководные рыбы, несём в брюхе смерть и других людей, так железо отныне беременно людьми.

Люди населяют корабли. Люди завидуют рыбам. Люди хотят дышать водой и этому не могут научиться. Люди не могут плыть там, где плывут тяжёлые небесные птицы, растопырив железные крылья, а могут только набиться в животы серебряных небесных птиц и там задыхаться от нехватки воздуха, от страха разбиться.

Мы плыли. Корабль качало то с боку на бок, то с носа на корму. Бортовая качка, килевая качка. Я плохо переносил морскую болезнь. Утешал себя: я привыкну, привыкну.

Мы плыли. Что мы ели? Я не хотел есть. Я ничего не хотел.

Почему моя жизнь принадлежала другим людям? Они мне приказывали, и я плыл. Приплыву, мне прикажут сойти на берег. Мне прикажут умереть, и я умру. Почему я их слушаюсь? Я должен восстать.

Если я восстану, меня убьют.

Ну и пусть убьют!

Но я хочу жить.

Зачем тебе такая жизнь?

Я лежал на полу, около меня сидел на корточки мужик в волчьей шубе, закуривал папиросу, предварительно смяв её пальцами и зубами, и просил:

— Расскажи, поп, о Боге.

Я рассказывал.

Говорил очень мало. Скупое. Не мог. Тошнило.

Я видел — люди в каюте мною развлекались.

— Его распяли.

— Ево правда распяли? Хах, ето больно!

— Потом Он воскрес.

— Чёрт, воскрес! Етово быть не может! Ищо никто не воскресал.

— И верно, — подавал голос лежащий на верхней правой койке мужик, сверкая в ухмылке серебряной фиксой, — помёр так помёр, што ето за враньё, брехня.

— Воскрес.

— Врёшь ты всё!

— Воскрес.

— Ха, ха!

— Воскрес! На третий день!

— Ха, ха, ха!

Мужик со шрамом через всю рожу, лежащий на нижней левой койке, бормотал невнятно, как пьяный:

— Ты, ты... совесь-то имей, небылицы в лицах... што чешешь языком... язык твой без костей...

Я умолкал. Отворачивал лицо к стене каюты. Кусал губы.

Килевая качка. Мы то взезжали на гребень волны, то валились вниз стремительно, так катятся салазки с высокой снеговой горы — прямо во тьму, во смерть. И разбиваются.

— Ну, чо, чо ты замолк. — Это с верхней левой койки бурчал одноглазый мужик; глаз ему выкололи ножом в драке; и я тогда не знал, что пройдет великое Время, и я тоже глаза лишусь, ничего я не знал, кроме того, что мы плывём. — Валяй, сочиняй! Скукота тут, с ума спятим. А ты про Бога валяй, романист. Антиресно веть. Ну, воскрес, и што? Што дальше-то приключилось?

— Пришли жёны... муноносицы... ко гробу Его... а там на камне Ангел сидит.

— Ишь! — Это четвёртый наш мужик, с нижней правой койки, зубы как расчёска, восклицал, будто икал. — Ишь! Аньдел! А ты, врун, вот скажи, ты хоть разок Аньдела видал?! А! Молчок. Не видал! То-то! Што молчок, зубы на крючок?!

— И говорит Ангел жёнам: нет Его во гробе. Воскрес!

— Вот заладила сорока Якова. Воскрес, воскрес! А видел-то ево хто?!

— Ученики.

— Ишь! Он ищо и учителем работал! А жалование ему хто платил?! Али, хошь сказать, трудился даром?!

— Ну, ты, сказитель, сказку-то дальше вали, не спи. Мы тебе кильки за сказку дадим! У

Федьки в сапоге есь, солёна. Охрана оделила.

— Апостол Фома не верил. Он к Фоме пришел и пробитые руки протянул. И сказал: вложи персты свои в раны Мои.

— Ха! Ха, ха! Это и я так-то могу! Израню себе ладони скобой! Кровища потекёт! И буду теми ручонками Фомке тому в рожу тыкать! Да рази таким-то фокусам поверишь!

— Фома поверил. А Господь сказал...

Я умолкал, дитя, и плакал.

Глядел в железный потолок каюты. Горячие слезы текли по холодным щекам.

— Што нюнишься?!

— Болтай языком! А то кильки не получишь!

— Сказал: блаженны не видевшие и уверовавшие.

— Штой-то больно мудрёно балакашь!

— Да нет, Михайло, ну што ты ево заклевал.

Он жа поп. Он жа и должон про веру.

— Верь, не верь, всё одно помирать.

— С верой вроде бы легче считаецца.

— А ты почём знашь? Помирал рази уже?

— Хто из нас не помирал. Все помидали.

— Я вот не помирал.

— Да хошь бы один вернулся оттедова! Да разьяснил нам всем, дуракам, што там есть.

— Ничево там нету.

— А ты почём знашь?

— Почём, почём, в морду кирпичом.

— Глянь-ка, поп ревёт!

— Как младенец. Малодушнай.

— Ну, давай, поп, пореви! Оплачь судьбину!

А мы подрыхнем. Спать охота. Укачиват.

— Да, колыхат знатно. Все кишки наружу!

— А хто знат, сколь ищо плыть?

— Нихто не знат. Плыви, и всё.

— А потом сдохнем, и выкинут за борт.

— У нас поп есь, отпоёт.

— А может, он наперво сдохнет.

— А мы не попы, отпевать не умем.

Так плыли мы и плыли, во брюхе великанской железной рыбы, подобно Ионе во чреве кита, и я хотел увидеть, что нас ждёт, и закрывал глаза, и молился, и тщился рассмотреть фигуры и знамения, восстающие со дна глазного, со дна неведомых времён, — и не мог; дребезжание ледокола, холод железного пола, когда из-под спины вбок, как змея, теряющая шкуру, уползала грязная ро-

гожа, заслоняли чаемый Мирь Невидимый; и я молился только об одном: Господи, дай ты мне силы ещё на земле ли, на море, посредине пучины бездонной, пожить, и да, Господи, вот из этой железной кружки, путевой подружки, угостят, ведь не звери, ведь люди, горячего, дымного, страшного, вечного чаю ещё попить.

Что там колыхалось, в том море? Что я помню? Чего не помню, дитя мое, и зачем я рассказываю тебе про неслучившиеся подвиги мои? Все неслучившееся неслучайно. А то, что случилось, — задумано Богом вдвойне и втройне: ты становишься перед Его великим, необъятным зеркалом, ты теряешься в его просторе, в его Вселенском размахе, ищешь себя глазами, где же это я, в каком уголку Мира Божиего отразился, ведь это только диавол не отбрасывает тени и не имеет отражения, а всякая тварь имеет; и вот, море то северное, великанское, тот, усеянный плахами плывущих гигантских льдин, Северный Океан, тот солёный Северный Космос, его же довелось мне пройти-измерить судьбою, пройдя из конца в конец, — эта сумасшедшая вода, что качала, качала нас в колыбели, и мы сами не знали, родились мы, умерли уже или не родились ещё, временная качка, с боку на бок, с носа на корму и обратно, изводила нас и убаюкивала нас, и мы, четверо мужиков и я грешный, грешно мечтали о подводном царстве, мечтали утонуть и перестать страдать; открывать настежь мёртвые глаза там, где медленно, важно плавают яркие полосатые рыбы, где лежат на дне ржавые, обросшие водорослями и ракушками скелеты некогда красивых живых кораблей, думать без мыслей, слушать без ушей, плакать без слёз, радоваться без радости. Спросишь: а разве такое возможно? А кто поручится, что там, куда мы все уйдём, останутся при нас все наши чувства? И все пять привычных, и страшное шестое, то, что заставляет нас глядеть в колодцы Времени и видеть там Невидимое, и слышать Неслышимое, и смертно любить Бессмертное?

Как рассказать тебе о смерти? Ты такая маленькая, такая юная. Ты не поймёшь даже самого этого слова. Посмеёшься. Плечами пожмёшь. Мы всё время думаем о ней, но вслух её имени не произносим. Мы пережили в Северном Океане морской бой и переплыли смерть. Я молился, и,

возможно, случилось чудо. Наш ледокол, сторожевик, и номер военный белилами боцман намалявал у него на борту, чудом отстрелялся от вражеского тяжёлого крейсера. Ледокол пострадал, да, а на крейсере палили в нас, да всё мимо; Господь отводил от нас вражеские торпеды. Раненые, с пробоиной, мы ушли вдаль, да и крейсер повернул прочь, мы наблюдали. Битва вспыхнула и оборвалась, как во сне. Я молился за героев, а пробоина пришлась выше ватерлинии. Матросы откачали воду из трюма насосом; людей, кто в трюме плыл, спасли, но иные захлебнулись, их вышвырнули в море. Капитан велел утяжелить ледокол по здоровому борту. Я спустился в трюм. Лучше бы я не спускался туда. Я привык к виду людских страданий, а таких искажённых болью лиц я не видел ни в одном госпитале, ни в одном своём лазарете.

Деточка моя, я проповедовал им. Иногда слово это бинт, останавливающий буйную кровь, это блаженная марля, пропитанная нежным пахучим маслом. Я говорил и сам себя не слышал. Понимал: надо просто говорить, говорит, и легче станет. Пробоину заткнули старым брезентом; вот так и я, собой затыкал бреши и сквозные раны в людской плоти и людских душах.

Бой забылся и не забылся. Память — зеркало; в ней Время плывет и гаснет, уплывает, мерцая, а потом зеркало поворачивают чужие незримые, сильные руки, и как вспыхнет в дальнем углу тьмы упрямый, торжествующий свет! Я состоял из мрака и света, и, говоря Божие слово, я понимал всю малость мою и весь грех мой. Беда человека в том, что трудно, а бывает и невозможно подняться ему по золотой лестнице Иакова от тьмы — к могучим Божиим лучам. Человек смеётся над собой, смеётся над Богом, не верить легче, чем верить! Вера есть труд! А душа, что ж, она так устаёт, она так часто хочет отдыхать. Вечного отдыха хочет.

Закреть глаза... и не проснуться... зеркало — разбить...

Душенька...

И был день.

Пришвартовались. Серая вода, цвета тюленьей кожи, плескалась возле громадных камней. Камни гляделись великаными черепами. Кладбище великанов, острый запах йода. Далеко, в сизом мареве, парил крылатый призрак

монастыря. Сошли на берег по крутому трапу. Я качался от слабости. Капитан присвистнул, меня узрев: эка ты исхудал, мил человек! Я услышал его возглас словно изнутри зеркала. Я был бесплотным зеркалом, отражавшим Север, монастырь, причал, кнехты, Мирь, жизнь, невольников, обитателей трюма, моих спутников, немых-нечёсанных, и мой зеркальный острый, кинжальный зрак врача безошибочно определял, кто чем болен, и ставил диагнозы: у этого желтуха, у этого стенокардия, у того цинга. Я не мог скальпелем вырезать страдание.

Я ничего уже не мог; прежде чем нас погнали в барак, нас обыскали, и у меня из дорожного мешка изъяли мой контейнер с хирургическими инструментами и верным шприцем.

Теперь я не мог никого спасти при помощи железа и стекла.

Я мог только молиться за страдальцев.

Пока мы шли в наше новое жилище, я читал моим мужикам, с кем я переплыл целую жизнь, духовные стихи.

*Не надейся ты на щедрость
На людскую, на чужую:
Может, с голоду помрёшь ты,
Околеешь под забором.
Не надейся ты, несчастный,
К смерти злой приговорённый,
Что помилуют, отпустят,
Обласкают и прославят!
А надейся ты на Бога,
Лишь на Бога ты надейся;
Всей душой поверь ты Богу,
Возлюби Его всем сердцем.
Это Он тебя согреет,
Это Он тебя спасает;
Он тебе протянет руку,
Уведёт в обитель счастья.
Там ни боли, ни страданья,
Там Господни лишь объятия:
Упади ты на колени,
Поцелуй стопы святыя,
И тебе Он улыбнётся,
И к тебе чуть прикоснётся —
Станешь Ангелом крылатым
Перед Господом Распятим.*

Не знаю, откуда брались во мне эти слова,

но я их бормотал, и легче становилось и мне, и тем, кто их слышал. С моря налетал сильный ледяной ветер и валил с ног. Мы добрались до серого сарая, моих спутников повели дальше, куда, я не узнал никогда, а меня одного оставили стоять напротив двери.

— Што стал! Открывай! Да входи!

Я осторожно толкнул дверь. Она подалась под моей ладонью.

Я переступил порог и остановился.

Я увидел.

На груди у того, с кем я побывал во вражьем плену, лежала моя Душа.

Она лежала на его груди, подобно приبلудной кошке.

С ужасом она глядела на меня.

А доктор, мой собрат, фамилию его я запомнил, имя тоже помнил отлично, обернул ко мне лицо и тоже меня увидел, и узнал.

Я видел, что узнал.

Мы, все трое, узнали друг друга.

— Ну, здравствуй, моя жизнь.

Это я сказал.

Это я сказал? Или он сказал?

А может, это она прошептала? Душа моя?

НИКОЛАЙ

Я не благородных кровей. Я не рыцарь. Я не давал обетов и никогда не клялся ни в чём. О, нет, конечно, клялся. Клятва Гиппократ! Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигиеей и Панацеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими недостатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.

Но никому, слышите, другому. Моя Душа больна. Тяжело больна. Смертельно. Не отри-

цаю. А толку отрицать? Я же вижу. Лечение! Давай, не давай никчёмные клятвы, всё равно она умрёт. Если она умрёт, умру и я. Ах, какие сантименты! Глядите-ка, люди! Дивись, честной народ! Любовный хороводят хоровод! И где? В неволе!

Тьфу, неволя. Вся жизнь неволя. Мы никогда себе не принадлежим. И правда, зачем себе принадлежать? Жизнь слишком мала, чтобы постоянно услаждать желудок и вкусовые сосочки, сладко есть-пить, а потом оглянуться вокруг и застыть от ужаса: а что же я сделал в жизни, кроме того, что жрал, ел-пил и спал?

Врач, он неусыпно делает святое дело. Святое? Да самое обычное. Отводит от больного голыми руками смерть. Ну, не голыми, в резиновых перчатках. Душа моя, я не могу вколоть адреналин тебе под кожу! Я узнаю, есть ли тут, в этом гадюшнике, лазарет. Должен быть! А если эпидемия! А если чума! Куда чумных будут девать!

Делов-то. Расстреливать и сжигать. На громадных кострах. Там, за Голгофо-Распятским скитом. На морском берегу.

А вот он, вот. Тащится. Собрат! Кой бес его сюда принёс! За надобой какой!

Не думал, не гадал. Встал передо мной, как лист перед травой.

Душа моя, как ты себя чувствуешь? Хорошо ли спала? Руки твои холодные. Дай дыханьем погрею.

Она, сидя на грязном ящике из-под картошки, протягивала мне руки. Я мял их и дышал на них.

Сидел перед ней на корточках и смотрел на неё снизу вверх.

Этот, доктор Алексей, святой батюшка, язви его, подходил, как на ладье подплывал. Медленно и важно. Ряса по земле волоклась.

Кому и на кой в Аду эти ряженые.

— Доброе утро! Бог помощь во всём! Как спалось?

— Живы, как видите.

Улыбался юродиво.

— А я, знаете, коллега, кое-что сделать сегодня решил.

— Да что вы говорите? Рад за вас!

Душа моя глядела вглубь меня, и синева ее радужек наливалась тёмным гневом.

— Зачем вы так с ним...

Кашляла. Задыхалась.

Астма. Тяжелейшая форма.

Я бы мог. А что! Пересечь ветви блуждающего нерва в области правого лёгкого. Опасно, да. Но эффект! Он может быть. Удалить лёгочные узлы блуждающего нерва и в левом лёгком, а почему бы и нет. Симметрично. Дикие спазмы у неё точно исчезнут. И эмфизема её не погубит. А так она однажды задохнётся, и... Что «и»? И я — за ней?

А можно сделать... да, вполне... резекцию внутренней ветви верхнего гортанного нерва. А у меня тут ни оптики под рукой, а мне увеличение надо большое, желательны Цейссовские стеклышки, ни микроинструментария. Проклятье!

— Я решил попроситься врачом в здешний лазарет.

Я грубо бросил руки Души моей прочь, как если бы это были два надоевших котёнка.

Встал, разогнул занемелую спину и невежливо уставился на собрата.

Бородища у него за эти годы выросла: целый лес. И поседела, это понятно.

Куда мы денем Время? Загоним под лавку? Сожжём на костре?

— Хорошая мысль. — Я изо всех сил старался быть вежливым, воспитанным. — Всегда будете при жирном куске. По крайней мере с голоду не помрёт. Как...

Я обвёл насельников барака бешеным взглядом. Не захотел добавить: как мы все.

Он и так понял.

Очки с круглыми совиными стёклами дрогнули на его большом носу. Борода тоже задрожала. Он сдёрнул очки и растерянно, судорожно стал протирать их складкой рясы. Опять нацепил на нос.

— А вы? Вы-то почему не хотите лазарету предложить свои услуги? Ведь люди же тут. Живые.

— Мы с вами тоже живые.

— Именно поэтому мы должны...

— Мы ничего никому не должны. Помолитесь вашему Богу, если вы правда верите в него.

Его глаза, из-за круглых детских стёкол, бегали, шарили по моему лицу, пытались доискаться во мне того праведного, что сквозило, дышало за грубостью и глумлением.

— Зачем вы так...

Душа моя тихо поднялась с ящика из-под картошки и тихо прошла мимо нас.

Её захлёбный, дикий кашель я услышал уже далеко от барака.

И он — тоже услышал.

— Она больна. — Он шагнул ко мне ближе. — Тяжело больна. Её ни в какой лазарет не положат. Оставят умирать так. Как всех. Как нас самих. Если мы с вами будем там... и будем исполнять наш долг... и будем трудиться... как раньше в миру трудились, как на войне трудились... мы её спасём. Поймите это! Спасём. Вы... давали ведь клятву Гиппократу...

Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошёл, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всякого намеренного, несправедливого и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.

— Свободными и рабами...

— Что, что?! Вы о чём...

— Я буду далёк от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами!

Я заорал так, что сам чуть не оглох.

Доктор отшатнулся.

— Господи помоги...

— Пусть Он лучше вам поможет!

Он положил руку мне на плечо.

Я хотел вцепиться ему в бороду, но удержался.

— Да. Мне. Я пойду к начальству. Я... попробую...

— Вас расстреляют, дурак вы!

— Что бы при лечении, а также и без лечения, я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому!

Я сначала не понял, что он произносит последние слова клятвы Гиппократу.

— Славы захотели?!

Он снял руку с моего плеча, и огонь вырвался из-за круглых велосипедных стёкол его очков и ожёг мне лицо и внутренности. Я даже обрадовался: я ещё не разучился чувствовать.

— Как вы можете. Я иерей. Слава для меня — гордыня. Один из семи смертных грехов.

Там, далеко, у самого берега моря, в виду ледяных волн и оглушительно визжащих чаек, задыhalась Душа моя.

Зачем перечислять наши общие невзгоды и лишения? Они слишком мелки и слишком позорны и слишком обыденны, чтобы их вертеть в памяти, как бабы перстни и серьги в иссохших пальцах, и жадно любоваться ими. Бараки тут были и совместные, бабы и мужики вперемешку, и раздельные, как старинные гимназии. Мы ютились в совместном. Бабёнки сновали взад-вперёд, после отбоя валились наземь, как снопы, и мужской пол ночами кряхтел от вождения и к бабёнкам под бочок упрямыми брёвнами подкатывался. Обнимашки, целовашки. До последнего иной раз доходило. Зрители роптали, матерились, а я молчал. Не преступление это, а обычная природа человеческая! Что в ней такого, в природе. Жук любит, кит любит, волк любит, клоп солдатик любит. Все любят. И человек любит. То, что он любовью назвал совокупление, тоже не злодейство никакое. Соединение тел неизбежно. Не только для продолжения рода. Внутри слияния прячется наслаждение. Вот по-церковному как раз наслаждение, радость от соития и есть грех наибольший, а когда мужик и баба сочетаются для зачатия — нет, не грех. Утилитарность, нужность их придуманным Богом приветствуются! И они называют это чистотой. А всё остальное — грязью. Я согласен вывалиться в грязи, только бы быть свободным от этих придумок, от этих гремящих цепей. Правду на плакатах размашисто пишут: РЕЛИГИЯ — ЯД, БЕРЕГИ РЕБЯТ!

Я сначала редко беседовал с моим доктором в рясе. Отворачивался от него. Я видел, он меня ревнует к Душе моей. А она загибалась. Точнее сказать, погибала. Ещё точнее — умирала, стремительно и бесповоротно. Бесповоротно всё! Это мы давно знаем. Доктор сам ко мне прибивался солёным прибором. Белопенная борода, глаза цвета холодного моря. Он дышал лютотой зимней водой, от него пахло водой, солью, рыбами, смолой.

Почему смолой? Он тихо признался мне, что втихаря от охраны ладит лодку.

— Как вам это удаётся, коллега?

— Я выхлопотал себе ненаблюдаемый досуг.

— Разве такое возможно?

— Я, — он улыбался сквозь белые нити бороды и усов, — я теперь работаю в лазарете.

— А! Исполнили свою мечту! То-то я гляжу, вы раньше всех встаёте, до переклички, и поминай как звали. И что, много больных?

— А вы как думаете, в таких немыслимых условиях? Коек мало, а больных тьма. На полу кладём.

— На полу... Чем тогда барак отличается от лазарета?

— Вы правы, коллега. Ничем. Нет, впрочем, отличается. Лекарствами.

— И операции делаете?

— Делаю.

— Хотите сказать, инструменты есть?

— Начальник лазарета привёз с материка. Целый чемодан. Не хотите присоединиться? Мне помогать? Я с ног валюсь к вечеру.

Я для виду помолчал и тихо сказал:

— Хочу.

Да, я страшно ревновал его к Душе моей. Душеньку гоняли на тяжёлые работы, женщин отряжали связывать напиленные в ближнем лесу брёвна в плоты; после заката Солнца она не приходила в барак — приползала, и её синие глаза заслонялись лунными белыми веками, цвета роковой приказной бумаги, цвета близкого снега. Снег и лёд царили тут всё время. Время, время. Доктор то и дело подходил к моей Душе, она, если лежала на спине, смущённо переворачивалась на живот, поднимала сутулой горкой плечи, утыкала лицо и рот в сложенные лодочкой ладони и кашляла так, что люди в бараке начинали роптать: вышвырните вон эту ведьму! Кто-то крикнул однажды визгливо: вот уж попрошу часового тебя пристрелить! Доктор в два шага достиг визгуна и произнёс отчётливо и веско: а я просить никого не буду, сам тебя зарежу. Чем, завизжал ледащий мужичонка, похожий на блохастого потрёпанного кота, ну чем? Скальпелем, холодно бросил доктор и опять пошагал к Душе моей, я хирург.

Хирург, хирург, он хирург, хирург... поднялся

шёпот и ропот, волнами по всему выставшему медвежьему бараку, он хирург, у него нож, у него иглы и ножницы, он тебя в два счёта раскрошет, у него всё что хочешь в кармане! Замолкли. Больше никто не вопил, когда Душа моя сотрясалась в изнуряющем кашле.

Доктор привёл меня в лазарет. Начальник лазарета окинул меня всего, быстро и подозрительно, острыми крохотными свинячьими глазками. Оценил. Прощупал. До костей. Рентген, подумал я брезгливо. Кивнул круглой кеглей-башкой, и три подбородка колыхнулись колючим студнем.

— Всё умеете?

— Всё, хоть и, — я мгновенно стрельнул глазами на доктора, — не Господь Бог.

— Хвастаете!

— Ну, в деле вы меня всегда увидите. Хоть каждый день. Тяжёлые есть?

— Да ведь одни тяжёлые. Ещё и с Большой земли привозят. Везут, везут. На материке, что ли, госпиталей не хватает.

— Война. И когда закончится?

Доктор подал голос.

— Никогда.

Я обернулся к нему. Так царь глядит на жалкого смерда.

— Так-таки никогда? А что же тогда было до войны?

— Другая война. Просто она шла там, где мы не жили никогда. И не воевали там никогда.

Начальник пошёл по коридору, мы за ним. Он сапогом, чтобы рукою не хвататься за дверную ручку, открыл дверь в палату. И мы вошли.

Старое монастырское здание. Комнаты под сводами. Раньше тут по стенам рассыпались цветные росписи, туда-сюда ползли фигуры, богوماзы наводили красоту. А теперь всё было гладко, до пустоты, выбелено; да известь потускнела, погрязнела, по ней полосами шли потёки, будто в палатах то и дело шёл дождь.

Хорошо бы хоть краем глаза глянуть на ту, прежнюю жизнь. Люди что тогда, что сейчас одни и те же. Одинаковы. Все мы из одного теста слеплены. Неважно, когда тебя мать выродила: тысячу лет назад или вчера. Ты человек, и это главное.

На койках валялись люди, люди, люди. Они все смотрели на нас. Искали глазами наши

глаза. Они глазами искали надежду. Хоть малюсенькую. Как человек жаждет жить!

В палате, битком набитой людьми, больные лежали на кроватях, раскладушках, на старых сундуках, на составленных рядком табуретах и на полу, поднялся нестройный шум.

— Новый доктор...

— Дохтур, дохтур!.. А вот вы взрезаете ли грыжу! У меня, помимо огнестрельного, грыжа, знаете ли... умучила...

— Доктор... спасите... задыхаюсь... голоса нет...

Я подходил к койке. Женщина клала птичьую лапку костлявой руки на забинтованное горло. Наружу, из-под повязки, выходил резиновый дренаж.

Рак гортани. Я уж тут ничего не поделаю.

Да. Я точно не Господь Бог.

Начальник лазарета обвёл нищее царство больных толстой рукою, жестом властным и победным.

— Выздоровливают, выписываем. Безнадёжные... безнадёжных...

— Отвозим на катере далеко в море и выбрасываем за борт, — докончил я за него.

Больные слышали. Кто-то на далёкой койке тихо заплакал.

— Ну вот, на войне не плакали, а здесь ревут.

Важно было притвориться сердитым.

Если ты сердишься, значит, ты силен.

Я быстро обошёл палату. Около тех, кто на полу лежал, я садился на корточки и так слушал пульс, смотрел состояние слизистой — веки, язык, и проверял рефлексы.

— Тебя, тебя, тебя — сегодня на операцию!

Пальцем тыкал людям в грудь, как в школе указкой — в таблицу.

— А это не больно?!

— Жить вообще больно. И опасно.

Доктор бороду потерял. Снял очки и прикрыл ладонью глаза. Так стоял.

Я бросил ему:

— Ваш — с грыжей, вон те, с гнойным огнестрельным и со свищем двенадцатиперстной, мои. Лады? Пошли переодеваться. У вас тут мыло есть, перчатки, халаты на завязках?

Начальник мотал головой, тройной подбородок трясся испуганно.

Душеньку я приглашал в лазарет. После опера-

ций я любил выпить, нет, не спирт: чашку крепкого, крепчайшего чифиру, и выкурить папиросу, да, одну, но так сладко её искурить, чтобы уж больше на весь вечер и всю ночь курева не захотеть. Я любил там сидеть, в полутёмном лазарете, смотреть на плывущее в полумраке лицо Душеньки, иногда спрашивать её о чём-то тяжком, ненужном, нежном или горьком, да всё равно.

Зачем вопросы? И так всё ясно. Молчание красноречиво. Оно необъяснимо. Слова ему мешают. И, однако, без слов не обойдёшься. Слова вроде бы мусор, но какая площадь без мусора? Его взад-вперёд носит ветер. Носят мои безумные мысли. Я только делаю вид, что я нормален. На деле я безумец, и поделом мне.

Сию, потягивая чифирчик, как креплёное вино. Душенька сидит напротив, испуганно глядит, запахнувшись в тулуп. Потом чуть даёт слабинку. Вздыхает вольно и глубоко. А слишком глубоко вздохнувши, кашляет. Она кашляет тяжело и запойно, и я понимаю, сейчас кашель перерастет в приступ, и мне нечем будет его снимать. Я протягиваю ей чашку с горячим чифиром.

— Выпей. Полегчает.

Она послушно, задыхаясь, глотает.

Переводит дух.

Я внимательно смотрю на неё.

Я люблю её.

А виду не подаю.

Да она знает всё и так. Давно.

— Спасибо.

Протягивает чашку мне. Я беру и отхлёбываю. Мне хорошо пить чифир из чашки, из которой пила она. Касаюсь края чашки губами там, где касалась она.

— Расскажи мне, как попала на войну.

Душенька пожимает плечами под тулупом. Она выпила чифиру и теперь как пьяная.

— Я ведь медсестра, Николай Петрович.

— Можно без Петровича.

— Войну объявили. Весь медперсонал сразу в армию. Наш госпиталь, почти весь, на Запад уехали. Заводы перешли на выпуск оружия. До нас самолёты врага долетали. Бомбили. Мы танки, зенитки, пушки выпускаем, на фронт отправляем, а они тут же попадают под обстрел. Эшелоны бомбили кошмар как. Город-то затемнят, а рельсы нет. Всё видно. Каждый поезд. Войска отступают. Враг прёт вперёд. Раненых тьма. Лазареты

заваливают ранеными... люди... ну... как брёвна, сгружают. С телег. С грузовиков. С вагонов. Медикаменты то есть, то нет. Мы лазарет наш разместили, будете смеяться, в вагоне.

Я подливал в чашку кипятку. Дрожал.

— Почему ж буду смеяться. Не смеюсь я. Слушаю тебя.

Она вздыхала прерывисто, так вздыхают дети после плача.

— Койки, утварь всякую, бельё там... Николай... Петрович... оставили в госпитале в городе. Мы без ничего. А раненых море. И вагон стоит, ночами оперируем, окна светятся, с воздуха лётчикам видать. Бомбят! У нас сколько там поубивали народу. Раненых... сестёр... врачей тоже. Врачей жалко, ужас. Бомбёжка, мы из вагона выбегаем и бежим в поле. А лётчик, вражина, летит за нами. В нас целится. А на реке что творится! Река-то у нас большая. Широкая. Беженцы на баржах, на плотках... на катерах... техника... люди, люди, войска, людей тьма-тьмушая... И, знаете, никакого радио. Сводки не слушаем, что да как на фронте. Только догадываемся. Потом из вагона нас... ну, можно так сказать, вынули... и... и...

Она замолкла потому, что я коснулся рукой её холодных пальцев, сжимающих круглую, в форме уха, ручку чашки.

— Говори. Не молчи.

— Я не молчу. И переправили... в бывшую школу. В октябре уже морозы ударили. Отопления нет. Раненых всё везут и везут, и прямо на пол кладём, на тряпки, на солому... на шинели. А еда? Есть-то из чего? Не из чего. Нету посуды никакой. Ложки только у солдат в вещмешках, да один котелок. Один на всех! На весь лазарет. Машина приехала. Вёл её важный начальник... красивый такой.

— Красивый?

— Ну, может, нет... представительный. Он нам в той машине вату привёз и ткань, шить матрацы. Мы матрацы шили, ватой набивали. В одном котелке, в пять присестов, жратву на весь лазарет варили. Потом доски на той же машине ребята привезли. Мужики изготовляли из тех досок раскладушки... А раненые лежат, мечутся, бормочут, орут, бредят. Умирают! И я как будто... с каждым... вместе... умираю...

Между нами странным приречным туманом, маревом колыбался сумеречный воздух.

— Ты только сейчас не умирай.

Я осторожно вкладывал горячую чашку ей в пальцы. Она обхватывала чашку руками и беспомощно, сиротски улыбалась. Синие глаза горели синими свечами.

— Кладём больных на раскладушки... а раскладушки шаткие... корявые... непрочные ножки... подламываются, раненные падают, чертыхаются, стонут, кричат. Падали... и прямо на полу — умирали... и мы их на мороз выносили, на холод, чтобы... ну... сами понимаете...

— Понимаю.

— А вороны налетят... и глаза мёртвым выклевывают... ну, сами понимаете, птицы, зима, голодные... хлеба нет, зерна нет, насекомых нет... ничего нет...

В тёмном коричневом окне, далеко, в направлении моря, горел тусклый свет. То ли забытый маяк, то ли снега под звёздным небом туманно отсвечивали, то ли Сияние медленно танцевало, то ли в небесах мерцала керосиновая лампа, и кто подкрутил фитиль, неизвестно.

— А тебе самой хлеба хотелось...

— Да... ещё как... есть хотелось всё время... и холодно, всё время холодно, мы пытались нагреть печку от души, чтобы весь школьный дом прогреть, да куда там. Здание большое. Как дворец. Не протопишь. Так и мёрзли. Руки под мышки сунешь... а потом в ладони дышишь, дышишь... не надышишься... Солдатики научились, пока на койках без дела валяются, изготавливать всякую всячину полезную. Кто чайник смастерит. Кто миску из жестяной банки. Кто соорудит чашку из коробки стальной, квадратную чашку, ну да наплевать, ручка есть ухватиться, пить можно. Один раненый даже светильник сделал. И горел! Представьте! Горел!

— Представляю.

Я ставил на стол пустую чашку, и сердце билось как у больной собаки. Пульс сто пятьдесят, как пить дать.

Душенька, склонив голову, глядела на меня нежно и напуганно, её наклонённое набок лицо сильно напоминало икону в старом храме на морском берегу, меня доктор Алексей туда завёл однажды, дверь была замкнута всунутым в щелочку громадным чугунным гвоздём времён Стеньки Разина.

— Ну вот... о чём ещё сказать-то... да вы и так догадываетесь...

— Нет. Да. Догадываюсь. У всех у нас всё похоже.

— Раненых лечили... как могли... хирурги, вроде вас, операции делали.

— И ты — операционной сестрой?

— Да. Я много чего умею... при операции.

— Ух ты, это здорово. Я тебя на операцию возьму.

Она косила вбок синевою огромных, речных, озёрных глаз.

— Можете... я при вас боюсь осрамиться.

— Ничего не бойся.

— Выздоровливали ребята... и опять на фронт... а куда же ещё... А потом на фронт штрафников стали посылать. Из тюрем, заключённых. У нас воевало много разбойников... убийц. Им убивать было не привыкать... Они, знаете, не только врага убивали... они — и наших убивали... своих, родных... разворовали в лазарете всё, что могли, утащили матрацы, подушки...

— А это ещё зачем?

— На спирт менять, на водку менять... пить-то им надо, пить душа просит... У нас сестёр, кто недосмотрит, а кража произойдёт, под суд отдавали: недоглядели! Суд, и всё! И осуждали... и срок давали... бандит украдёт, а сестре — срок припаяют... вот так...

Я клал ладонь ей на руку. Чувал: она потихоньку согревалась.

— Душенька, жизнь, она несправедлива. Правды — мало.

— Зато, знаете, они, бандиты эти, как отлично воевали... сражались, как звери... сколько врага положили, не счесть... Героя им многим давали... Они города освобождали... люди в городах, в сёлах, наши войдут, а в первых рядах — наши бандиты, родные, лазаретные, их обнимали, им руки, плечи целовали... Нас опять в поезд погрузили: передислокация! Однажды мы, сёстры, захотели сварить каши бойцам. Набрать воды надо было далеко, на вокзал пролезть под эшелонами. Мы котелки и кастрюли подхватили, поползли под поездами, как гусеницы... Воды набрали в колонке привокзальной. Возвращаемся, такой же цирк бесплатный. Ах!.. а эшелон наш умотал. Вот горюшко! А мы смеёмся. Кашу на костре, на улице, сварили. Крупа-то была у сестры Ольги в рюкзаке. Всем голодным раздавали! Все нас ой как бла-

годарили! А мы уж и смеёмся, и плачем, и кашу ту сами из котелка хлебаем, пустыми консервными банками, губы раним... А тут попутная дрезина шурует. Ну, мы в неё попрыгали да кричим: скорей, скорей, догоним эшелон!

— И догнали?

— Да, Николай... Петрович... Николай... догнали...

Она уже не пила чай, приоткрыв рот, тяжело дыша, во все глаза, будто я был зверь диковинный, смотрела на меня.

Я сам не знал, что делаю. Наклонился и припал губами к её рукам.

И она рук не отняла.

— Не молчи...

Она говорила, будто в этом говорении, в бесконечном течении сбивчивой тихой, задыхающейся речи и заключалось всё счастье, весь смысл того земного времени, что мы с ней вместе здесь и сейчас проживали.

— Да, да...

— А дальше...

— А дальше... ох, тяжело всё это... вспоминать... да вроде всё в прошлом... время... оно затянется всё. Все раны. Враги сначала наших подмяли... в бывшие казармы бросили. Колочей проволокой в десять рядов обмотали. А потом наши наступали, отбили. И наши в лазарете, и врага туда затолкали, в эти же казармы. Враги там сидят-лежат. А раненых среди них — ух, куча! И на нас, на сестёр, их навалили. Говорят нам: то пленные, мы расстрелять их не можем, а перемрут, тоже непорядок, лечить надо. Лечить?! Врага?! Вражину лютого?! Зверину?! Да провались всё на свете! Не будем! Орём, отказываемся. Мы и так как рабы в рудниках. Дежури́м, уколы делаем, перетаскиваем из операционной в палаты... стираем, варим, кормим... грузим в машины, в вагоны... продукты с вокзала привозим на себе, на горбу... и опять уколы, судна-утки, кровь, обработка, перевязки, охрана, всё-всё-всё... всё это мы, сёстры... А тут ещё пленных на нашу шею! Ну уж нет! А нам орут: да! Будете! Лечить! И ухаживать! И спасать! И всё такое! Мы орём в ответ: врага?! Да ни за какие коврижки! А нам орут: это приказ! Вот на войне... такое слово есть... приказ...

Я отнял губы от её тёплых рук. Глядел ей в лицо.

— Не молчи.

— Я не молчу. Вот про операции тяжеленные

помню. Врезалось мне это в память на всю жизнь. Осколки у солдата удаляли. А тут бомбёжка. Ну и что, что у нас на казарменной крыше Красный Крест. Это врага не волнует. Вы же сами знаете. Пулемёты затахтели. А мы оперируем не в казарме, а в палатке. Лазарет расширился, раненых девать некуда, и часть лазарета в палатки-временки тогда засунули. Бомбят, а хирург у нас был такой, смелый, вроде вас, Николай... и... ну, продолжает операцию... Если прервётся, всё, раненому каюк... И все мы, сёстры, у стола стоим... Никто не уходит... никто. И вдруг бабах!.. рядом с палаткой. Взрыв. Уши у меня заложило. Оглохла. Ничего не слышу. Потом услышала вой. И гул. Гудение жуткое. Самолёт на бреющем, видать, шёл... Мы все, врач и сёстры, целы... а больной на столе мёртвый лежит. В него, беднягу, осколок попал... да прямо в грудь... и перебил аорту... кровь так хлестала, я думала, нас затопит... лежал на столе в красной луже... А хирург наш говорит: счастливцев, умер, не ведая, что умирает, ведь он под наркозом... ничего не почувствовал... это же чудо, как вы думаете, как?.. Чудо?.. Чудо?..

— Это не чудо, а ужас.

Я не мог говорить.

И ужас, и чудо были слишком рядом. Я дышал ими.

— Да ведь и ужаса мы навидались... ещё какого... Опять нас в казармы утолкали. Наркоз у нас кончался. Делали операции под местной анестезией. Раненый всё видит, слышит. В зубы ему суём иной раз ложку, иной раз палку. Всё равно орал. Ложка со звоном падала на пол... а больной блажит так, что оглохнешь не хуже, чем от контузии... Впадали в болевой шок, а из него, вы знаете, трудно так просто вывести. И вот я руку в карман халата сую... а там у меня фляга... а во фляге спирт... собрала... я же не пила мои сто грамм... собирала... ко рту больному подношу. Он спирту хлебнёт и на минутку затихнет...

— А чем вы их кормили?.. Раненых?..

— Ой, чёрт знает чем, Николай... мёрзлой картошкой... Петрович... в полях выкапывали... небранную...

— А за тобой молодые бойцы ухаживали?.. Ну, заигрывали с тобою...

— Ох... бывало... и такое...

— А целовалась с кем?

— Ой... нет...

— Врёшь... красавица такая... да не целовалась... А жаловались на тебя? Или ты такая сестра... ну... дисциплинированная?..

— Я?... да... Я послушная... Хотя я посажена один раз даже в карцер была... в подвал казарменный... за нарушение... я возле койки одного бойца сидела... и ему письмо читала... нет, не от девушки его... от матери... и он плакал... и я его за руку взяла... и наклонилась к нему...
— Вот так?..

Я опять взял её за руки и наклонился к ней. Она не отодвинулась. Только глаза её больше стали.

— Да... А тут начальник лазарета идёт. Ну и закричал: в карцер! Нарушение дисциплины! Шашни с бойцами! Отставить! Хоть смейся, хоть плачь... Я заплакала... в карцер пошла... а боец кричал мне вслед: мамка моя жива, мамка жива!.. А слёзы у меня льются... льются... а никому ничего не объяснишь... бесполезно... А вы знаете, у нас иногда бывало, раненые дрались между собою... ну, что-то не поделят, или кто-то кого-то обидит, или кто-то кому-то больно сделает... вот так дрались солдаты однажды, страшно... и я между ними вклинилась... наперерез... хватаю их за руки... а они друг друга тузят нещадно... просто, знаете, убивают... ну мне, конечно, тоже досталось... и мне накостыляли... крепко... это я только потом сообразила, и убить могли... запросто...

— Могли... И убили бы... Но теперь с тобой такого не произойдёт. Никогда.

— Никогда... да... Я тогда была вся в синяках, в ссадинах... как после боя... А то один офицер в сестричку нашу втрескался. В Лизу. Проходу не давал. А потом вроде услали его куда. Он отъехал... мы сами видели, в грузовик в кузов прыгал... и вернулся. Ночью. В дверь ломился. Мы держали... вчетвером... а он выругался... да в дверь выстрелил. И ушёл. Мы слышали. А Лизка на пол упала. Пуля ей прямо в лоб попала.

— А ведь могла и тебе... в лоб...

— Да... могла...

— А ты жива...

— Да... А ещё мы там, в лазарете... на танцы ходили... зал там был такой, в казарме, белые колонны, сцена, раньше собрания, видать, там проходили, и у нас один боец на гармошке играл, на хромке, а другой на губной гармошке, у врага похитил... трофей... И мы танцевали... сёстры...

— С ранеными?..

— И с ними... и с врачами... и, смешно так, понимаю, шерочка с машерочкой...

— И что?..

— И то... В поезд нас погрузили... переселяться... опять переезд... Вот поехали... ну и приехали... Налёт... бомбили... остальное вы знаете, Николай...

— Да здесь-то ты как...

— Да очень просто... проще некуда... меня, помните, в город увезли... на выздоровление... потом опять враги вошли... лазарет наш под свои нужды приспособили... раненых перестреляли... врачей кого перебили, кого в живых оставили, их офицеров и солдат лечить... наши не хотели врага оперировать, один наш хирург зарезался скальпелем, себе по шее полоснул... по сонной артерии... сестричек по себе разобрали... кого замучили... кого застрелили... я сбежала... по подвалам пряталась... а тут наши входят... меня близ лазарета поймали... всё, предатель, под врагом побывала, значит, всё, не своя, а ихняя... ну, в эшелон тюремный, да на севера её, меня, значит, наказать... в карцер северный, вроде как на всю жизнь уже...

— Ты что... жизнь — большая...

Всё быстрее плыло ко мне её лицо, всё ближе оно, всё крупнее, лодка белая, небеса над ней.

И тут дверь в операционную как стукнет! Нянечка вошла. Со шваброй мокрой. Мыть полы.

— Ись, ись, дохтура отдыхают! А я тревожю. Дык когды нациссяти палаты? Ить вить времьца-ти нетути.

Я вздохнул, очухался. От Душеньки отодвинулся.

— Так времени и правда нет. Нет времени.

Душа моя сидела не шелохнувшись.

Руки её, на колени брошенные, лежали недвижно, просвечивали, как восковые.

Мы все больше говорили друг с другом. Совместные операции нам развязали языки.

Мы спорили. Даже когда я видел: он прав, я до хрипоты спорил с ним, утверждая мою мысль.

Я показывал, доказывал, приказывал. Он смотрел мне в рот и, кажется, соглашался со мной. Может, он просто был вежлив. Воспитан. А может, признавал мою правоту.

Я видел: он у меня учился.

Всё же война меня многому научила. И я в иных аспектах хирургии чувствовал себя сильнее. И да-

же наглее. Нахальнее. Да я и был наглец. А он — он был Божий человек.

Иной раз мы схватывались вовсе не на почве хирургии. А так, спорили о жизни. Сражались, орали, хватали друг друга за грудки, трясли. Чуть пощёчины друг другу не давали. Хотя были к мордобитию близки. Я никогда не думал, что мой божественный доктор может так разъяряться. И было бы от чего! Идейные стычки! О жизни, видишь ли, два военных врача на досуге беседуют! Так беседуют, что хоть всех святых выноси!

Этак-то страстно, сумасшедше мы пикировались и в операционной. Над раскромсанным, разъятым телом больного.

Лежит на столе распаханное человеческое тело. Вспаханное поле. Разрезаны мышцы, пережаты сосуды, рассечена брюшина, разведены по обе стороны смерти сухожилия и нервные окончания. Человек устроен очень просто. Я устройство человека знаю наизусть. И у всех оно одно и то же. Нет человека без вегетативной нервной системы, и нет человека без хрящей и костей, и нет человека без сердца.

За окном надувала березовые почки туманной зеленью холодная весна. Круглым древним зеркалом отражала землю и воду холодная Луна. С моря дул резкий сильный ветер, гнул деревья и кусты.

— Вот она, весна! Весна и война! Идёт, идёт ваша война! Ваша — всегдашняя! Ну что, довольны! Вот, да, режьте, режьте! Взрезайте! Любуйтесь! И, что самое интересное, вы тут будете копать, ковыряться, хоть целый век все тела расковыривать, а души — не найдёте! Нет её! Нет! Нет! Нигде! — Я погружал руки в развороченный живот. — Живот, он же жизнь! Так, кажется, по-вашему, по-церковному?! Ну? Где она? Где душа?! А?! Я вас спрашиваю! Что молчите! Или, может, она в конкретном месте прячется?! Под брыжейкой?! В поджелудочной железе?! В селезёнке? Ну? Где?!

Я зло, с грохотом бросал скальпель и зажимы на укрытый стеклом подсобный хирургический стол. Окровавленные железки скользили по стеклу и скатывались на пол. Операционная сестра подбегала и живо подхватывала инструменты с пола: кипятить.

Доктор подходил ко мне. Я вцеплялся глазами ему в лицо. Он не выглядел ни растерянным, ни обескураженным. Он стоял передо мной безо-

ружный, а я видел, чувствовал его вооружённым до зубов; и чем? Его дурацкой, необъяснимой верой. Всего лишь верой! Да забодал он уже меня этой верой, бык мирской!

Он протягивал над раскромсанным больным на столе руки. Ладонями вниз. Я мог поклясться, что из его ладоней на больного, пребывающего в наркотическом сне, льются потоки светящегося, солнечного тепла. Я, на расстоянии, осязал это тепло. Изумлялся. Ужасался. Но ничего не говорил.

— Нет души, говорите?

— Нет! Её не-е-е-ет!

Я кричал, как обречённый. Так кричат на плахе казнимые. Так кричат самоубийцы, прыгая вниз со страшной высоты.

— Так вот неправда ваша. Она есть. — Он начал дрожать. — Есть, есть... есть...

Я бы мог поклясться: на моих глазах рана затягивалась.

Бред. Фокус. Шарлатанство. Небыль. Быть такого не может. Нигде, ни с кем и никогда.

Я переставал видеть и слышать. Стоял, как деревянный болван. Потом очухивался. Глядел на аккуратно зашитый разрез. Доктор уже стаскивал перчатки, уже тщательно, долго мыл руки под неистово гремящим оловянным рукомошкой.

АЛЕКСЕЙ

Дитятко моё. Ты слушала, слушала меня, да и уснула. Я ведь вижу твоё будущее, пока ты спишь. Я всё равно продолжу говорить, можно? Я ведь вижу не только то, что станет с тобой, но и всех твоих детей, твоих внуков, всех твоих потомков, они уходят, сначала узкой цепью, очередью смиренных причастников, потом народ растёт, увеличивается, валит толпа, катится вдаль многоногим и многоруким шаром, вот я уже вижу, как потомство твоё, дитя, катит и рассеивается по всей круглой несчастной земле, всюду возжигаются огни, костры, люди горят, вопят, бегут от огня, люди обнимаются и крестят друг друга — на прощанье, на любовь, на возвращенье. Вернуться домой! Это самое большое счастье. Знаешь, я вот тут лежу на железной койке, на дне железной угловой лодки, слепой, а я счастлив, безмерно счастлив: я ведь вернулся домой. И мой дом — ты. Ты слышишь? Спишь... Спи. Ты мой народ, моя последняя молитва.

Ты родоначальница целого человечества, а тебе кажется, ты тут, в тюремном лазарете, у серого ледяного моря, жалкая маленькая санитарочка. Так устроен человек. Он обманывается, заблуждается и ничего не знает. И правильно. Бог спасает его от ужаса всецелого знания; всё ведаёт только Бог, но не человек. Человек — слепец. Он идет, щупая пальцами воздух. Он бредёт на голос, на крик, на стон; на свет. Я слеп, но я чую свет кожей, вижу его нутром. Сердцем вижу.

Итак, я предсказываю тебе стать царицей огромного рода человеческого; женщина, когда рождает, плачет и кричит, страдает и выгибается коромыслом, и не думает она, кого родит, и не ведаёт, кем станет дитя её и кого оно в свой черёд выродит на свет Божий; и как размножатся наследники её; и кого произведут на свет в суждённый срок наследники наследников её; она просто рождает ребёнка, и наблюдать это могут не все смертные, и перед повитухами, перед акушерами я встаю на колени, ведь они достойны сидеть у престола Бога. Когда они уйдут на небеса, там-то они и воссядут. У Божиего трона. И обочь трона Его будут пребывать, когда Он станет судить людей Страшным Судом.

Спи, а я буду говорить. Мне важно не прерываться. Я укурю тебя концом вытертого одеяла. Чья шерсть, верблюжья, овечья? А может, волчья? Звери помогают нам выжить. А мы, мы разве помогаем им? Мы только берём от них, что можем взять, а потом убиваем их. Доколе человек будет убивать зверя, дотоле он будет убивать собрата. Таков закон.

Есть люди, они вырываются из когтей и зубов закона. Закон тоже зверь. Он сомкнёт зубы на твоей глотке, и ты истечёшь кровью. Не докажешь правоты. Перед законом ты всегда виновен. И это одно из положений закона.

Тебе, через череду лет, ещё только предстоит зачать и родить, а Душенька там, на берегу холодного туманного моря, уже родила. Вчера? Завтра? Нынче? Всегда. Я завёл странную дружбу с туманом: он обратился в зеркало. Я приходил на берег моря, гулял там, дышал солью, дышал тоской. Далеко, странной радугой, где были только цвета смерти, ядовито-зеленый и дико-красный, гас призрак Мира, исчезал горизонт. Простор, это всё, что оставалось у нас, узников. И знаешь, я вот слепой, но я лучше вижу Мирь. Зрячим я ви-

дел его краски, его небеса, пульсирующие потроха людей, песок, вбирающий кровь, а слепым я вижу всё, что Мирь скрывал от меня, таил. Я вижу сундуки его сокровищ. Его секреты. Его подземные огни. Его семенные каналы, его матку, куда, неистово сражаясь, рвутся проникнуть спермии. Какая чудовищная война идёт между ними! Они бьются не на жизнь, а на смерть. Победит один. Когда я, юным врачом, узнал об этом чуде, я, пришед домой, не ел, не пил, сел к ночному окну на ветхий табурет, согнулся скорбно, как у изголовья покойника, и горько плакал. Им всем, всем другим спермиям, кто не победит, не победит одного, суждено погибнуть! Никто и не вспомнит о них. Закон жизни. Закон смерти.

Я стоял перед зеркалом Мира на морском берегу, и зеркало отражало меня. И не только. Оно смещало струение света, скошенные потоки серебряных лучей били в подвздошье отлива. Песчаное дно обнажалось и отражало закатное небо. Я видел будущее, но я не различал настоящее, а надо было наблюдать, надо было всё запоминать. А я просто любовался. Задышался от счастья. Белая глина ползла, плыла под ногами. Я ложился на нее животом, она сначала обжигала, потом холодная зеркальная поверхность несла меня на прозрачной спине, и льдина превращалась в белого кита, и я, человек, внезапно застывал круглой безъязыкой планетой. Я не мог говорить. Я становился отражением, хотел кричать в ужасе, да вместо живой глотки у меня внутри лилась и застывала амальгама. Кто делал меня зеркалом? Уж не я ли сам? А кто раскрывал навстречу мне объятия? Смысл жизни исчезал, и кто-то Иной, Непонятный мог совершить за меня мою тяжкую, кровавую работу. Я начинал, и я принимал роды. Кто я был такой при этом? Хирург или страдалец? Возлюбленный или тюремщик?

Град и лёд устилали простынь берега. Далеко в небесах всходило молочное, масляное белое Солнце, и вокруг него медленно кружил орёл, и кричала и стонала рядом женщина — то ли в любви, то ли жестоко пытаемая, избиваемая, то ли умирающая. А может, она кричала в родах. Смерть и жизнь так похожи. Я рассмотрел это в гигантском морском зеркале, по нему били хвостами, глядясь в него, киты, и щупальцами — спруты.

Нам тут никто не обещал свободы. Мы все

смирились с тем, что теперь будем жить так: ни обняться, ни поцеловаться, ни помолиться. Нет, молились тайком. Во всех бараках. Беззвучно. Лёгким птичьим шёпотом, клёкотом. Криками чаек. Белыми бурунами на бараньих завитках безумных волн.

Зеркала, они перемещались и гасли, поворачивались, ловя отраженья, кривя стеклянные рты: то ли улыбались, то ли плакали. Я ловил зрачками их потустороннюю дрожь. Идя по берегу, я знал Душеньку. Вспыхивал зеркальный скос, и она выходила ко мне: из волны, из-за песчаной гряды. Песок расчерчен расчёской отлива, а сейчас начнётся прилив, и, Господи, ты ли это, Душа моя!

Она, вдавливая босые ноги в песок, подходила. Это просто солёное зеркало незримые великанские руки подносили ко мне очень близко, так страшно близко, что я мог переступить стеклянный порог, уступ необоримой тьмы. Лучи, отражаясь, скрещивались, и мы оба стояли, распятые на кресте Света. Душенька, ты видишь, повсюду Крест Господень? Вижу, улыбается она, ещё как вижу! Чем ты видишь это? Очами? Сердцем вижу, счастье моё.

Зеркала бились, сшибались, таяли, всплывали друг в друга, невесомо, тайно, сверкаяюще. Мы становились единственными в Мíре зеркалами, и вместо кожи нас покрывало одно на двоих отражение, и вместо объятия Свет гулял по нашим рукам и спинам, по нашей голой коже и голым сердцам, и мы оба думали одну и ту же мысль: как прекрасно быть обнажёнными перед световой бездной, и уже никто не узнает, отражаемся мы в ней или падаем в неё, и есть ли конец этому Вселенскому падению, вот так бы падать веки вечные, и чтобы невесомость никогда не кончалась, и чтобы губы отражали губы, глаза отражали глаза, а волосы и пальцы, солнечно светясь, улетали в небеса птицами, а рёбра, неистовая грудная клетка, чтобы разбилась, выпустив на волю сошедшее с ума от счастья сердце.

Таково было моё послушание, пребыть отражением; таково было моей Души назначение, озарить меня извне и изнутри. Быть Светом человек не может вечно. Но, дитя моё, если человек испытал это в жизни, не в посмертии, он этого никогда не забудет.

Свет есть зеркало Бога.

Свет есть Его хирургический инструмент.

Светом Бог взрезает нас, и Светом он исповедует нас, и Светом причащает.

И тонкой нежной ниткой Света зашивает разверстыя раны наши.

...я мог не знать. Мог не увидеть. Мог даже не догадаться. Догадка была слишком страшна. Я отталкивал её от себя, она катилась из-под ног круглой, позолоченной рыболовной блесной. Нас всех ловят. Нас манят, прикармливают, и мы покорно трусим к кормушке, и мы верим, мы доверяем. Вот я иду берегом моря, и вот за камнем, рядом, вопли, борьба. Уж не сам ли это я с незримым вражиной борюсь? Одолеваю его, или подаюсь ему? А может, человек, в страсти и злобе, в лютом вожделении, ломает, как юную берёзу, другого человека? Женщины, мужчины. У всякого свое распятие. Мужчина распинает женщину на мокром песке. Женский голос, он зовёт на помощь. Помогите! Я бросаюсь вперёд. А ноги мои не бегут. Они стали чугуны. Приварились к земле. Я сам стал тяжёлым, как земля. Я стал Временем. И остановился.

И слушаю отчаянный прибой.

Сегодня ветер. Там, за валуном, люди, они катаются по песку и стонут, и кричат, и пытаются одолеть друг друга. Я слышу: мужчина затыкает рот женщине, наверное, сначала локтем, потом кулаком, потом лоскутом её разорванной рубахи. Она хрипит. Он рычит. Они два зверя, уже не люди. Кто она? Я не знаю. Я догадался, но я не хочу это видеть. Что с ними происходит за тяжёлым могильным камнем? Никакой Ангел камень тот не отвалит. Никто здесь не воскреснет. Воскресает лишь любовь.

Никто не вернётся домой. Возвращение домой есть любовь.

Где ты, где ты, любовь?

...а может, девочка моя, кроме солнечных, есть в Мíре и чёрные зеркала. Почему бы им не быть. Запросто. Они отражают Ад. Если ты видел Рай, Ад ты всегда узнаешь в лицо.

У Души моей нынче начались роды.

Начнутся завтра; уже завершились; да ведь Времени нет; да и нас нет на свете.

Когда и как забрюхатела она? Как тяжёлая ходила? Незаметен был рост плода. Военврач Николай зло смеялся, пожимал плечами. Под от-

репьями, охвостьями шкур, старой рогожей, в них закутывалась женщина, не был виден отчаянно растущий, тестом на опаре, живот. Живот, жизнь! Как часто, Господи, я погружал руки в человеческое брюхо, скользкие кишки струились, текли и вспыхивали под пальцами, скользила по окровавленной плоти резина перчаток, скользил безумный зрачок, прокалывая, веря, видя, нащупывая, не изучая, нет, — благословляя. Нет хирурга без благословения. Что же, ты сделаешь ей кесарево сечение, если что? А что? Сама родит! Как родит? Где родит?

И главное, кого родит?

Кого. Чьего. Невдомёк. Душа, разве она может быть беременной. Она смеётся: я всегда беременна, всегда. Душа всегда тяжела, всегда носит во чреве своём новый Мирь. Врач Николай скалился: да она всем, всегда, всю дорогу, под всеми кустами, под каждым кустом! Ноги растопырит, танцуй не хочу! А ты с ней цацкаешься, умоленный, батюшка полоумный! Ты ей ещё нимб из картона вырежь и сусальным золотцем обклей! И вместо ушанки, вместо ушанки! На лоб насунь! И пусть так ходит по бараку! И на работу! Плоты вязать! Чернавка! Царица! Святая!

Роды и зачатие. Роды и плод. Роды и ребёнок. Родовспоможение, я всё это умею. Я всему этому учёный, и почему так вышло, что живот у Души моей наливался, тяжёлый день ото дня, а я всё легче становился, всё невесомее, я превращался в ветку полыни, в ягель, в сухой лист морошки, в эту оранжевую, кровавую ягоду, что так легко раздавливалась под языком, так горько гас несбывшийся поцелуй на губах, а ведь женщина, когда носит ребёнка, на девять месяцев избавляется от несения кровей, и как быть, если ты хочешь поцеловать твою любовь везде, где можно и где нельзя, а она порезала себе губы осокой, и с губы струится вниз по подбородку, медленно, горько, томно, и падает кровь, летит капля крови, ты слизываешь её на лету, ты шепчешь: скоро, скоро!

А она шепчет тебе нежно: я хочу замедлить Время, остановить, я хочу носить моего ребёнка вечно, всю жизнь, я не хочу его рожать, выпускать в такое страдание, в этот широкий, без берегов, ужас, в эту бурю, ей же конца-краю не видать, моё дитя, не успев вдохнуть холодный воздух, едва явившись, тут же умрёт. Ты, ты такой всемогу-

щий! Ты так много знаешь и умеешь! Сделай так, чтобы моё дитя век жило во мне!

А я шепчу ей, потрясённый: нет, это же чудовищно, хранить в себе жизнь свою, это всё равно что похоронить её, похоронить себя, любое явление должно быть явлено, любое существо живёт внутри Времени! О моя Душа! Как же ты безумна! Ты же сходишь с ума, Душа моя! Зачем тебе таить в себе продолжение твоё и моё! Ты родишь, когда придёт срок! Ты раздвоишься, разделишься! Тебя разрубит надвое Тот, Кто сияет над тобой, над нами надо всеми! Попробуй с Ним поспорить! Кто же выступает против Бога! Иаков боролся с Богом, и что получилось?

Душенька...

Кто отец дитяти твоего? Молчи, не говори. Мне все равно. Это навсегда будет моё дитя. Ты Душа моя, и всё твоё — моё, и ты об этом знаешь лучше меня самого.

Я брал её, брюхатую, уже на сносях, за руку и уводил на берег моря. Там на плоском громадном валуне я раскладывал перед нею наш скудный ужин: горбушку ржаного, три корюшки, испечённых в золе костра, туесок морошки, кувшин колодезной ледяной воды. Вода такая, зубы ломило. Я благословлю все яства, она, улыбаясь, глядит, как движется в воздухе моя рука. Потом шагнёт ко мне, хватает мою руку и целует её. А потом начинает задыхаться. Бледнеть.

И я шепчу умалишённо: потерпи, Душа моя, потерпи, приступ сейчас пройдёт, всему на свете отмерено время, и страданию тоже.

Врач Николай следил за нами. У него подо лбом горели слишком внимательные глаза. Иногда в них возникало зло, и тогда мне хотелось закрыть ему их ладонями. А может, не ладонями, он воспринял бы это как грубость, как насилие; а, к примеру, мятыми старыми газетами. Мы давно не видели тут, в бараках, ни газет, ни книг, ходя в воздухе лодками плавали странные слухи о том, что рядом есть, а может, была и умерла библиотека; что рядом есть, а может, был и погиб театр; такие вещи, как библиотека, театр, стадион, магазин, были из другой жизни других людей; людей, не похожих на нас, хотя такие же у них были глаза и руки, как у нас, такие же ноги, такие же спины, такие же плачущие лица. Мы забыли, когда смеялись. Врач Николай иногда смеялся.

Его смех походил на лай или рыдание. Я вздрагивал, заслышав этот смех; я не мог ему вторить.

Душа моя задыхалась и кашляла, живот её рос, вырастал, становился гигантским, будто она носила во чреве огромного кита. Мысли меня посещали страшные: она не родит, она умрёт. Потом я спохватывался, соображал: кесарево сечение, да, конечно, я сделаю ей кесарево, и делу конец! Однажды мы ужинали на берегу, перед нами на валуне лежал хлеб и мерцала вода в железной кружке; морошки я не успел собрать, и рыбы не наловил. Душа моя глубоко вздыхала. Я слышал ее тяжкий вдох и хриплый выдох. Совсем немного времени оставалось у нас, чтобы поесть; я знал, сейчас она начнёт задыхаться, и я буду спасать её, массируя ей ладони и голые грязные пятки, я помнил странные, запрещённые лекции моих профессоров, когда учился в столице на врача, о том, что на руках и ступнях человека таятся волшебные точки, связанные с вереницей внутренних органов. Ещё я знал, что такой неизбывный кашель вызывает неправильное положение блуждающего нерва; я предполагал рассечь его, но разве беременную, да на сносях, можно оперировать? Ребёнок в утробе может так испугаться, что умрёт прямо там, во тьме околоплодных вод, не родившись. Мира никогда не увидит. Я такого горя не мог допустить.

У нас будет только радость.

— Меня не пригласите к трапезе вашей?

Мы оба вздрогнули от резкого голоса, разрезавшего вечернюю сизую пелену.

Душа моя отвернулась, глаза её глядели на серый перламутровый песок, расчерченный извилистыми полосами отлива.

Я стоял над валуном, будто совершал Литургию.

А что, если и правда совершить тут Литургию?

Господи Боже мой! Как же мне это раньше в голову не приходило!

А НАДО, ЧТОБЫ В СЕРДЦЕ ПРИШЛО.

— Приглашаю! Откушайте!

Врач Николай сделал один, второй, третий крупный, грозный шаг к валуну.

На корточках перед камнем присел.

Долго на хлеб глядел.

— Мало у вас хлеба. Обездолю я вас.

— Ничего. С Божией помощью. Я вам сейчас помогу. Всех оделю.

Врач Николай сидел передо мной и косо, исподлобья, глядел на меня снизу вверх.

А будто сверху вниз.

Так зло, жёстко, жестоко.

Я чуть было не воскликнул: за что.

— За что... — губы сами прошептали.

Он не расслышал. И слава Богу.

Он смотрел на мою Душу.

Ей в глаза.

Я наклонился, взял в руки хлеб и разломил его. Большой кусок протянул Душеньке. Чуть меньший подал Николаю. Маленький оставил себе. В ладони тихо поднёс ко рту и тихо ел из ладони, брал хлеб губами, как младенец берёт материн сосец беззубыми дёснами, и жевал, жевал, жевал медленно, чтобы хлеб дал сок, чтобы им насладиться, почувствовать не только его вкус, но его тайну, его предвкушение и его посмертие, послевкусием ощутить меж зубов, под языком его смерть, проглотить её с благодарностью, ибо его, хлеба, смерть даёт тебе жизнь. Я жевал и жевал, а Николай, отвернувши лицо от Душеньки, смотрел на меня и смотрел.

Он смотрел, как я ем.

Я с трудом проглотил кусок и замер. Застыл.

Протянул хлеб в ладони моей Николаю.

— Ешьте. Я больше не хочу. Наелся.

Николай протянул руку, чтобы взять хлеб из моей руки, и криво усмехнулся.

Отвёл руку. Спрятал за спину.

— Я вам не верю.

Душа моя шумно вздохнула. Сидя перед большим камнем на камне маленьком, уложив на коленях живот, так, вот так, она будет держать на коленях младенца, закрыла глаза. Её лицо стало похоже на круглощёкую Луну. И верно, Луна медленно, страшно всходила за краем моря, освещая колеблющейся дорогой призрачной позолоты серую паутинную морскую рябь. Поднимался ветер, и на ветру мёрзли наши лица и нагие сердца.

— Ваше право.

Я глупо стоял с недоеденным куском хлеба в руках.

— Накормите лучше её. Их сейчас двое. Плод тоже хочет есть. Ещё больше, чем она.

Она сидела с закрытыми глазами, Луна её лица плыла между нами, как между двумя грозными тучами.

Она захотела встать, не могла, живот перевешивал, протянула мне руку: помогите! — и я протянул ей руку, продолжая держать хлеб; я потянул её, тяжёлую, вверх, она, кряхтя, еле вставала, больно в руку мне вцепилась, рачьей клешней, я всё тянул её вверх, всё вверх и вверх, и не мог поднять, и выронил из другой руки хлеб, он упал на сырой песок, и рванулась, мигом подлетела чайка, бросилась вниз и подхватила хлеб, будто рыбу из моря, ловко и хищно, зло и умело, и поднялась вверх, в небеса, с хлебом в когтях, и я провожал птицу взглядом, и брюхатая Душа моя встала на диво легко и плавно, будто незримой нитью была привязана к летящей в закатном небе чайке. Мы оба провожали взглядом летящую с добычей в когтях птицу, и птица закричала, радостно завопила, завизжала, пронзительно запищала, как чайки обычно пищат.

— Хлебушек ваш тю-тю.

— Николай Петрович. — Я охрип на ветру. — Вы знаете что. Я вас попрошу. Вы завтра в лазарете попросите, пожалуйста, у начальника двойную пайку.

— Чем я это объясню, как вы считаете?

Охрип и он. Возможно, мы оба заболели. Дитя моё, я уж забыл. Помню, хрипели оба, и он и я, а Душа моя глядела вдаль, в белое сонное забвенье моря, закрытыми глазами.

— Правду скажите. Скажите: моя жена беременна, ей нужно подкрепиться. И попросите освободить её от работ на морском берегу. Ей тяжело наклоняться. Она вяжет брёвна, стоя на коленях на сыром холодном песке. Она застудит себе суставы. На всю жизнь.

Он хрипло расхохотался. Лающий хохот, то ли кашель, то ли хрип, то ли невнятная ругань. Он хохотал, будто проклинал.

— А вы сами, вы, вы-вы-вы!.. разве не можете о том же самом, и теми же словами, начальнику сказать?! Кому она жена? Мне?! Да вы спятили! Да вы... Да вы сами её возьмите да спросите, кому она жена!

Я провожал взглядом чайку. Она потерялась в сером просторе. Алый мазок близкой смерти Солнца пролёг между небом и морем. Змеиная зелень моря отразила красноту, и там, где кровь заплескалась в воде, возникли тяжёлые, мрачные волны.

— Что в рот воды набрали?!

Я молчал.

Господи Боже мой, помоги, Господи, спаси и сохрани, и этого человека, и меня от него, отведи от него диавола, и от меня, от меня диавола отведи, ибо перестаю я владеть собой, я хочу ударить его, а ведь мне надо его простить, мы никто не умеем прощать, мы страшны, когда мы Тебя забываем, Боже, ибо Ты единственный нас спасаешь от ввержения в Геенну огненную. Помогите мне смолчать! Помогите мне молиться! Я буду так стоять, не двинусь, не начну драку, не начну бой, я буду молиться Тебе, Господи! Дай мне силы любить его! Любить врага моего! Ведь он друг мой! Ведь я учусь у него искусству хирургическому, когда он виртуозно, великий мастер спасения людей, разрезает, кромсает человеческое тело! Просто, Господи, он не знает, что у тела есть душа! Просто никто, никто ему об этом не сказал! Не заронил зерно великой любви в него! Открытые глаза, Господи, могут быть закрыты для Тебя. Умные мысли, Господи, могу не вместить Тебя! Лучше, Господи, лиши меня ума, чтобы я стал дурнем, но чтобы я продолжил любить Тебя, а значит, через Тебя и людей всех! Всех на земле! Господи, не лиши меня только сердца, ведь сердцем, и только сердцем, так громко, на весь Мирь, бьющимся, я слышу любовь людей и изливаю на людей любовь мою!

— Ну хорошо! Тогда я её сам спрошу!

Я видел краем глаза, как краем зрячего моря: он разогнул колени, поднялся, стал внезапно огромен, как пожарная каланча, возвысился над нами, над моей Душой и надо мной, и сделал к Душе моей шаг, другой. И достиг её.

Встал напротив неё. Глядел на неё.

А она сидела с закрытыми глазами. Слепая по собственной воле.

Не видала ничего, не слыхала.

Я знал: она видала и слыхала Бога.

Николай переступил с ноги на ногу перед ней. Его наваксенные сапоги скрипнули.

— Эй... Слышишь... — Голос его упал до голых гнилых водорослей отлива. До йода и соли, целующих обломки ракушек, рыбьих скелетов. — Ты... кому жена? Мне или ему?

Медленно, медленно повернула прекрасная Душа моя голову. Поглядела на врача Николая закрытыми глазами. Я видел, как под сомкнутыми веками шевелятся и вздрагивают глазные яб-

локи, будто диски далёких планет, бороздящих, наподобие кораблей, нескончаемое сизое, сонное небо. Она глядела на врача Николая слепым лицом, и оно то покрывалось дрожью, как море рябью, то вспыхивало, так вспыхивает на морском горизонте зелёный луч, указующий небесный перст, направление на небесное счастье тех, кто терпит крушение в водах предсмертного архипелага; её лицо колыхалось, то светлело, то мрачнело, покрывалось скрещенными красных и изумрудных лучей, извивалось и изгибалось, как потусторонний муар Северного Сияния — мы в той тюрьме наблюдали это чудо природы, когда приходили первые большие холода; её лицо всей кожей глядело на него, её щёки глядели на него, её лоб глядел на него, её нос, ресницы, рот, подбородок, скулы, виски — всё глядело на него, только её глаза не глядели на него. Не глядела не того моя Душа, на кого не надо ей было глядеть.

— Эй... ты!.. Слышишь...

Она слышала. Она всё слышала. И как далеко визжат чайки, вылетевшие на вечернюю рыбную ловлю. И как шумит ветер в прибрежных кустах. И как бьёт в железную рельсу старый монах из ближнего, разрушенного и сожжённого монастыря, развесёлый расстрига, вечно голодный и вечно сквернословящий, брань то и дело слетала сухими листьями с его ржавых от долгой железной жизни уст; он прибил к нашей несчастной тюрьме, тюрьма у моря стала его новым монастырём, и в ней он свершал свои новые требы. Вечно растрёпан, вечно кудлат, седые патлы по ветру летят. Расстрига всё бил и бил в рельсу, тяжкий звон висел над бараками, уплывал в море железной лодкой.

— Кому... ты... жена...

Она молчала.

— От кого родишь?!

Он выкрикнул это страшно, надсадно. Захлебнулся криком.

Она молчала.

Потом улыбнулась.

— Кого любишь?!

Вот тут она открыла глаза.

И я изумился драгоценному свету, что излился из глаз её, как из белого алавастра изливалось драгоценное муро, коим любящая Господа умастила натруженные, в трещинах и царапинах, исходившие множество пыльных каменис-

тых дорог и тропинок ноги Его. Свет из очей лился и лился, синева наливалась светом, синева становилась лучистой, чистой, нежнейшей, васильковой, переходила в тишину, в перламутр, в боль, в исповедь, в прощение, в слёзы. Слёзы уже лились. Они прорезали щёки и утекали за ворот холщовой робы.

— Я вас обоих люблю. Я вас всех люблю. Я... — Она положила руку себе на живот. — Даже нерождённых люблю. И мёртвых люблю. Всех. Всех!

Я подошел к ней. Встал перед нею на колени на сырой песок и прижался лицом, щекой к её огромному, живущему своею, особой жизнью, драгоценному животу.

Ухо моё прислонилось к её необъятному чреву, вжималось в него все горячее, теснее, и я слышал внутри живота хождение и крики, журчание подводных течений, смутно видел, как проплывают мимо косяки сине-фосфорных, красно-сумасшедших красивейших рыб, слышал стук молотков, звон утонувших колоколов, биение младенческого сердца, сердцебиение плода на сносях прослушивается очень ясно, сердце ребёнка билось часто, так бьётся, совершая круги по циферблату, бешеная секундная стрелка на старом брегете, я прислушивался и определял: да, пульс плода именно такой, какой и должен быть в эту пору беременности, патологий нет, всё идёт нормально, да всё будет хорошо, всё, лучше быть не может, наш сын, а может, наша дочь, всё равно, лишь бы здоровенький крепкий младенец, а в животе шла своя жизнь, гремел, переваливался с боку на бок, толкался и бодался Мирь, новому Миру дела нет до старых людских войн, он сам себе война и сам себе Мирь, вот он родится, вот скоро, вот сейчас! Что такое сейчас? Сейчас, оно тоже ходило внутри моей Души, оно переворачивалось по часовой стрелке и против часовой стрелки, оно вращалось живым веретеном, оно шло вперёд и катилось вспять, оно перестало быть Сейчас и вдруг стало Потом, а потом вращение усилилось, в животе поднялись крики, вопли, соединились в дикий хор, там, в животе, все умирали, и их всех было не спасти, и Сейчас превратилось во Вчера, а потом стало Давно, а потом стало Вначале, а потом, я замер, закусил губу до крови, потом оно стало тем, чему имени не было, не существовало никогда, ни в каком языке, ни в каком народе, оно стало тем, что было до Бога, до

Времени, до Вселенной, до любой жизни, до смерти. А до смерти ведь была смерть. Смерть была всегда. Космос полон смертью. Кроме смерти, в Космосе нет ничего. Что ты готовишь нам там, в веках, кроме смерти, Боже?!

Ребёнок в утробе матери взыграл, ударил мать в стенку живота сначала озорной коленкой, выгнул ей наружу восхолмием брюшину и натянутую кожу, потом перекувырнулся и упёрся головёнкой туда, где находился материн пупок, и от пупка вниз бежала светлым ручьём белая линия живота. Солнце село. Быстро темнело. Холодало. Ветер посуровел и срывал с Души моей рабочий платок, коим повязан был её лоб, рвал ей чудесные её, густые пшеничные, с золотыми и седыми нитями, волосы.

— Вставайте, — шепнула она мне, — вставайте. Мы не пошли на вечернюю переключку. Нас расстреляют!

Врач Николай стоял около валуна и, взяв кружку, жадно пил из кружки. Кадык его перекатывался на глотке его. Первые звёзды висели над нашими головами, горели, разгорались медленно и ярко, как лампы, питаемые свежим маслом, в великанском торжественном паникадиле.

НИКОЛАЙ

Я не хочу про это говорить.

И вспоминать не хочу.

Воспоминания лезут сами, вылезают из меня, как жаркое дыхание тифозного больного. Я заталкиваю их внутрь себя. Внутрь небытия.

Зачем вспоминать, что было? Как прекрасно было бы жить без памяти. Ох, как бы мы тогда были все спасены от безумного, острого, недолимого страдания.

Кем спасены?

Я в ответе за мою любовь: перед кем? Перед собой? Перед ней?

Кто нас накажет? Кто простит?

Окончание следует

*При оформлении использован рисунок
Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого*



Елена Николаевна КРЮКОВА

родилась в Самаре.

Поэт, прозаик, культуролог.

Окончила Московскую государственную консерваторию

и Литературный институт им. А.М. Горького.

Член Союза писателей России, Творческого Союза художников России,

Издательского совета Русской Православной Церкви.

Лауреат премии им. М. И. Цветаевой (2010),

Международного славянского литературного форума «Золотой витязь»

(2014, 2016, 2019, 2021), международных литературных премий

им. И. А. Гончарова (2015), им. А. И. Куприна (2016),

им. Э. Хемингуэя (2017, Канада), Южно-Уральской премии (2017),

премии им. С. Т. Аксакова (2019), премии им. Ф. И. Тютчева (2020),

премии журнала «Север» (2020), премии им. Н. Н. Благова (2021),

премии им. С. Сергеева-Ценского (2021) и др.

Публикуется в литературных журналах России

и стран мира (Франция, Германия, Болгария, США, Канада).

Создатель авторского «Театра Елены Крюковой».

